238.

# MITOBERO-ABBURERIE

# ОЧЕРКИ.

Историческія изслёдованія Теобальда.



вильна.

Гипографія п. ф. О. Завадзнаго, Вамк. п. № 149.

1890.

Дозволено цензурою.—18 января 1890 года. Вильна.



# ПРЕДИСЛОВІЕ.

Представляемое на судъ образованной публики настоящее сочинение, состоить изъ рефератовъ, или въриъе—изъ отрывокъ, пъликомъ взятыхъ изъ неизданнаго еще въ печати долголътняго, обширнаго труда моего, полъ заглавіемъ:

# , ПОЛНАЯ ЛИТОВСКАЯ МИООЛОГІЯ

И

СВОДЪ МНЪНІЙ РАЗЛИЧНЫХЪ ПИСАТЕЛЕЙ О НЕЙ".

Трудъ этотъ состоитъ изъ трехъ томовъ:

### Томъ I.

#### ВЪРА ЛИТОВСКАГО НАРОДА.

Часть І. Введеніе въ Литовскую Миоологію.

- II. Боги въ дъйствительности чтимые народомъ.
- III. Побочныя божества, созданныя суевъріемъ народа.
- IV. Божества, придуманныя досужими писателями.

#### Tomb II.

#### В ТРОВАНІЯ ЛИТОВСКАГО НАРОДА.

#### Часть І.

- Глава І. Върованія древнихъ Латышей.
  - II. Храиы и алтари.
  - III. Идолы.

#### Часть II.

- Глава Т. Загробная жизнь.
  - II. Почитаніе огня.
  - III. Клятва или присяга.
  - IV. Космосъ и лътосчисленіе.
  - V. Языческое духовенство.

#### Часть III.

- І. Языческія жертвоприношенія.
- II. Языческія празднества.
- III. Свадебные обряды.
- IV. Погребальные обряды.
- V. Поминки (праздникъ Ильги).
- VI. Уничтоженіе язычества.
- VII. Дополнительныя свъдънія о загадочной смерти Кейстута.

#### Tomb III.

#### ПОВФРЬЯ ЛИТОВСКАГО НАРОДА.

#### Часть I.

- Глава I. Этнографія и культъ древняго литовскаго народа.
  - II. Законодательство языческо-литовское.
  - III. Легендарные богатыри.

#### Часть II.

- I. Пов'трыя о растеніяхъ.
- II. Повърья о животныхъ.
- III. Повърья о прочихъ предметахъ видимаго міра.

#### Часть III.

- I. Народные предразсудки.
- II. Народное суевъріе.
- III. Народное творчество.

Сочиненіе иллюстрировано множествомъ рисунковъ и чертежей \*).

Появится ли когда-нибудь въ печати этотъ колоссальный трудъ—Вогу извъстно. Но для ознакомленія съ нимъ просвъщенной части общества, помъщаю въ настоящемъ Сборникъ тъстатьи, которыя разновременно были напечатаны въ "Виленскомъ Въстникъ". По нимъ можно сдълать заключеніе о достоинствахъ или недостаткахъ пълаго сочиненія.

Meodanoc's.

<sup>\*)</sup> Оно поднесено мною въ даръ Императорской Академіи Наукъ.

# СОДЕРЖАНІЕ.

	cmp.
I. Загробная жизнь п	
представленіямъ.	9
II. Народное творчество	
III. Древне-литовскія по	в жарья :
1) Апстъ, 2) Кукупп	ка, 3) Соловей, 4) Сова,
5) Воронъ, 6) Гусь	, 7) Собака, 8) Волкъ,
9) Медвѣдь, 10) Кон	ь, 11) Повърья о горахъ. 27
IV. Всемірный Потопъ,	по тремъ сказаніямъ . 56
V. Аушлявись (Жалтис	ъ), богъ врачеванія . 63
VI. Праурима, богиня, ог	чня
VII. Ніола, жена Поклуса	а, бога ада 79
VIII. Упина, богиня ръкъ	82
IX. Гульби, геній—покр	овитель человъка 85
Х. Литовско-языческіе	погребальные обряды . 93
XI. Языческія священны	и мъста въ Вильнъ . 108
XII. Гедиминова гора въ	Вильнъ 137
XIII. Алцисъ, легендарны	ий богатырь въ гербъ
Вильны	146
XIV. Зничь, мнимый свящ	енный огонь Литовскій 157
XV. Кривой городъ въ 1	Вильнъ 165
XVI. Загадочная смерть 1	Кейстута 167
XVII. Воздушныя чудеса.	181
VIII. Хронографъ Іоанна	Малалы въ виленской
	екъ 190

#### Ī.

# загробная жизнь.

#### По литовско-языческимъ представленіямъ.

Мифологія— это поэзія. Она разрываеть древнія могилы, вызываеть изъ нихъ поэтическіе образы прошлаго и, какъ изъ рога изобилія, сыплеть въру, върованія и повърья народа, его преданія, легенды, пъсни, сказки и другіе цвъты народнаго творчества. Мифологія— это эпопея духовной жизни народа. Суровая исторія идеть рука объ руку съ мифологією, которая, съ своей стороны, вънчаеть безстрастное чело ея своими перлами и пвътами. Безъ нея исторія была бы суха и безжизненна. Мифологія оживляла въщія струны скальдовъ, бардовъ, менестрелей, меннезингеровъ, трубадуровъ. Безъ мифологіи не было бы поэзіи. Она—мать поэзіи.

Литовцы также имъли своихъ народныхъ пъвдовъ Вуртиниковъ. Выть можетъ между ними были свои Оссіяны, Виргиліи, Гомеры, Данты, но исторія именъ ихъ намъ не сохранила и показываетъ ихъ уже въ то время, когда они перестали быть гордостью и славою своего народа, когда искру небеснаго огня и поэтическія вдохновенія начали продавать на торжищахъ, когда поэзія ихъ была унижена до гаерства и служила лишь

для потъхи дикой, невъжественной толпы; словомъ, въ то время, когда поэты снизошли, за деньги, до званія простыхъ штукарей, фокусниковъ, знахарей, скоморо-ховъ.

Самыя представленія литовскихъ язычниковъ о безсмертіи души и о загробной жизни были основаны на поэтическихъ возгрѣніяхъ. Но поэзія ихъ, по грубости нравовъ, сулила имъ въ будущемъ только идеализированныя потребности земной, матеріальной жизни. Ихъ рай, подобно раю Магомета, преобладалъ лишь наслажденіями чувственными. Жрецы объщали за гробомъ людямъ добродътельнымъ: красавицъ, никогда не старъющихся женъ, вкусныя кушанья, сладкіе напитки, льтомь—бълую одежду, зимою—теплые тулуны, спокойный сонь на мягкихъ ложахъ, неувядающую молодость и непоколебимое здоровье, постоянное веселье, пляски и игры; кроме того, всякая блаженная душа получала въ въчности сто новыхъ понятій, изъ которыхъ каждое открывало ему по сто новыхъ блаженствъ, неизвъстныхъ на землъ. За то преступныхъ, злыхъ и непослушныхъ жредамъ людей ждали по смерти страшныя наказанія: боги отбирали у нихъ все, чъмъ наслаждались они въ жизни, и низвергали ихъ въ Прагараст (адъ), гдъ свиръпый Поклуст жестоко и въчно терзалъ ихъ и заставляль выть и стонать вътысячахъмуют безъконца. (Лука Давидъ, ч. I, стр. 20. Дусбургъ, ч. III, гл. 5).

Литвины въровали, что различіе состояній, существующее на земль, сохранится и въ въчности. А потому они и были убъждены, что князья и бояре будутъ князьями и боярами и по смерти, воины останутся воинами, ремесленники — ремесленниками, земледъльцы — земледъльцами и что за гробомъ каждый будетъ нуждаться въ томъ, что составляло при жизни необходимость его существованія. Поэтому, съ умершими князьями и знатными людьми сжигались на кострахъ рабы,

рабыни, лошади, собаки, соколы, драгоцвиности, одежды, броня, мечь, конье, лукъ со стрвлами, пращи и другіе предметы, которые любилъ покойникъ. Вврованіе это очень сходно съ индійскимъ, связаннымъ съ сожженіемъ вдовъ. Съ прославившими себя въ бояхъ героями сжигали нервдко и плвиниковъ, какъ, напримвръ, съ твломъ Гедимина. Съ твлами же ремесленниковъ и земледвльцевъ погребались разные ремесленные инструменты, лемеши отъ сохъ, топоры, посуда и другія орудія, которыми они заработывали себв при жизни хлвбъ. (Юцевичъ, стр. 286, Ярошевичъ, ч. І, стр. 186, Нарбутъ, ч. І, стр. 383).

Литовцы вѣрили, что гдѣ-то на Востокѣ существовала гора блаженства, Анафіель, Анафіелься, на которую когда то придетъ какой то всемогущій богъ, большій изъ всѣхъ боговъ, судить добрыя и злыя дѣла людскія, для чего и возсядетъ на этой горѣ, высочайшей, крутой, гладкой какъ стекло, на каковую гору души умершихъ могутъ взобраться и держаться на ней не иначе, какъ при помощи медвѣжьихъ или рысьихъ когтей. Поэтому, на костры и въ могилы клали означенные когти.

По этой причинъ (Нарб., стр. 355), люди преклонныхъ льть не обръзывали собственныхъ ногтей, но запускали ихъ. Молодые же люди, когда стригли ихъ, то не выбрасывали, а кидали въ огонь, такъ какъ върили, будто ногти пригодятся по смерти и ихъ со временемъ легко будетъ найти въ горнемъ пространствъ, куда они будутъ занесены дымомъ. Но если бы кто нибудь разбрасывалъ свои ногти, то по смерти пришлось бы ему долго отыскивать ихъ, до тъхъ поръ, покуда не нашелъ бы послъдняго обръзка, такъ какъ безъ нихъ онъ ръшительно обойтись не могъ. Отсюда возникло повърье, будто тъни умершихъ неръдко скитаются иежду домами и въ большинствъ случаевъ замъчаются на кучахъ мусора и сора, гдъ онъ какъ будто чего то ищутъ.

Бѣднякъ утѣшалъ себя тѣмъ, что онъ легче всякаго богача взберется на гору страшнаго суда, преддверію вѣчнаго блаженства, которымъ будетъ онъ наслаждаться въ кругу своихъ дѣдовъ, въ весельи и свободѣ и будетъ огражденъ отъ преслѣдованій русскихъ, поляковъ и нѣмцевъ и самъ начнетъ повелѣвать меченосцами.

Чемъ человекъ быль богаче, темъ труднее было ему въобраться на Анафіеласъ, потому что земныя богатства отягощали его душу; хотя же звериные когти, оружіе, лошади и рабы и помогали душе подниматься на гору, однако, если она была грешна предъ богами, то на нее нападалъ жившій подъ горою драконъ Вижунисъ, отнималь отъ нея все богатства и ее самое, наравне съ душою какого нибудь грешника - бедняка, предавалъ на волю буйныхъ ветровъ, которые и уносили ее въ адъ.

Такимъ образомъ, Литовцы имѣли понятіе о рам и адм. Первый, по ихъ мнѣнію, находился на небѣ (Дунгусп), далеко, на сѣверномъ концѣ "млечнаго (по-литовски "птичьяго") пути". Тамъ души праведныхъ пребывали въ жилищѣ боговъ, наслаждались бесѣдою съ ними и вмѣстѣ пили Алусъ (медъ или пиво), этотъ безсмертный напитокъ боговъ, соотвѣтствующій древней амврозіи, малвазіи, нектару. Второй, т. е. адъ, находился въ преисподней, подъ землею.

Въ то же время върили, что неизвъстный богъ живетъ на Дунгусть, судитъ людей еще при жизни ихъ, а со смертію назначаетъ душамъ ихъ награды или наказанія.

Но въра въ безсмертіе души, при ученіяхъ религіи, исполненной заблужденій и суевърія, имъла, какъ сказано выше, превратныя понятія о загробной жизни душъ. Непоколебимо убъжденные въ наградъ или наказаніи по смерти, Литовцы чрезвычайно заботились о будущей судьбъ своей души, а потому умирающіе завъщали всегда своимъ роднымъ, какъ можно строже исполнять

надъ ними всв обряды погребенія и въ особенности ходатайствовать у жрецовъ, чтобы они приняли всв мъры для проведенія души въ блаженную въчность. Воля умирающаго была исполняема съ строжайшею точностію, иначе, неисполнившихъ ее ждало мщеніе боговъ, въ которомъ *Поклус*в не замедлялъ показывать свою силу.

Въровали еще, что душа почившаго, тотчасъ послъ похоронъ, проходила мимо жилища жреца и даже самаго верховнаго жреца, въ томъ видъ, въ какомъ было погребено ея тъло, давала ему знать о своемъ присутстви, оставляя что нибудь изъ вещей, съ которыми оно было похоронено, или изображая на воротахъ жреца какой нибудь знакъ, руно или хотя зарубку оружіемъ. Въ такомъ случать жрецы обладали возможностию спрашивать тънь, чего еще не доставало ей для пріобрътенія жизни въчной, и затъмъ указывали ей и пути къ мъсту въчнаго упокоенія. Родственники покойнаго ничего не щадили для жрецовъ за подобную услугу (Нарб., стр. 384).

Очевидно, подобныя върованія возбуждали ненасытную жадность корыстолюбивых в жреповъ, которымъ языческо-литовская религія и обязана своими темными сторонами и многими варварскими и отвратительными обрядностями.

Но рядомъ съ этими представленіями вълитовскомъ народѣ уживалась и вѣра въ метампсихозъ или переселеніе душъ въ новорождаемыя тѣла людей и даже прочихъ животныхъ. По Нарбутту (стр. 383), Литовцы переняли это вѣрованіе отъ предковъ, индо-скиеской отрасли (!). Слѣды этого вѣрованія, по свидѣтельству лѣтописца XIII столѣтія Кадлубка (кн. IV, стр. 19), сохранились и въ позднѣйшее время между простымъ народомъ, который вѣрилъ, будто душа младенца или человѣка безумнаго, какъ не пріобрѣвшая совершенства, необходимаго для вѣчной жизни, и потому не заслужив-

шая еще ни награды, ни наказанія, осуждена, впредь до новаго воцлощенія, витать въ горнемъ пространствъ по волъ вътровъ.

Но современникъ Кадлубка, тевтонскій лѣтописецъ Дусбургъ, а съ нимъ и Стрыйковскій, писатель XVI столѣтія, о вѣрѣ въ метампсихозъ не упоминаютъ ни однимъ словомъ. Изъ этого слѣдуетъ заключить, что Литовцы и особенно Ятвяги вѣрили въ метампсихозъ только до XIII столѣтія, т. е. до большаго сближенія съ народами Европы.

Юцевичь ("Литва", стр. 128) доказываеть, что, по народнымь повърьямь, душа злого человъка переселяется въ негопыря, который родится въ могильныхъ склепахъ изъ мертвыхъ тълъ и живетъ 300 лътъ; по истечени же этого срока, снова переселяется въ человъка и создаеть изъ него уже честную и всъми уважаемую личность. Отгого, будто бы, правнуки всегда бываютъ лучше своихъ прадъдовъ.

Повърье въ переселеніе души въ нетопыря, безъ сомнѣнія, народилось уже въ христіанскую эпоху, наравнѣ съ существующими до нынѣ повѣрьями въ разныхъ оборотней.

Выше было сказано о твняхъ, скитающихся по смерти, для собиранія обръзковъ собственныхъ ногтей. По суевърію народному, современному, впрочемъ, человъчеству, твни бродили по свъту не для одной только этой цъли. Нъкоторые старые скупцы, не желая, чтобы богатства ихъ доставались людямъ, остающимся въ живыхъ, и полагая, что сами будутъ пользоваться ими по смерти, зарывали свои сокровища въ землю, съ разными заклятіями и по смерти стерегли эти клады сами, въ образъ разныхъ чудовищъ и злыхъ духовъ. Къ повърью этому даетъ поводъ неоднократная находка въ землъ сосудовъ съ древними монетами, такъ называемые "дающіеся клады". Въ народной демонологіи есть много

средствъ для отысканія кладовъ и овладѣнія ими, но набожный Литовецъ знаетъ, что отысканіе, при помощи этихъ средствъ, клада сопряжено съ погибелью души и потому открещивается отъ нихъ.

Бродять также по свъту неотомщенныя тъни погибшихъ отъ тайной руки убійцы и требующія мщенія, равно такія, надъ которыми не быль почему либо совершенъ обрядъ погребенія. Въ существованіе сихъ послъднихъ тъней върили и римляне (Горацій, кн. І, ода 28, вт которой говорится о тини философа Архиты).

Но самыми зловредными тѣнями были упыри или вампиры, которые проникали ночью въ человѣческія жилища и высасывали людскую кровь. Такіе духи назывались по-жмудски Кемисъ, а по-латышски Кеhms (Нарб., 357). Для уничтоженія этихъ злыхъ духовъ, народное творчество придумало много якобы самыхъ дѣйствительныхъ средствъ.

Они тождественны въ сказкахъ всъхъ въковъ и на-родовъ.

#### II.

# НАРОДНОЕ ТВОРЧЕСТВО.

Народнымъ творчествомъ нельзя назвать сочиненій разныхъ ученыхъ писателей и поэтовъ, хотя бы сочиненія ихъ и были писаны народнымъ языкомъ и въ народномъ духъ. Всь подобныя произведенія всегда будутъ чъмъ-то дъланнымъ, не самороднымъ, не первобытнымъ. Истинное народное творчество живеть въ самомъ народъ и познается по тому только, что оно не имъетъ никакихъ ученыхъ формъ, никакихъ границъ и почвы для фантазіи, а неръдко даже и смысла, тогда какъ дъланная поэзія, на какой бы фантазіи она не строилась, немыслима безъ последовательности и строгихъ логическихъ законовъ. Народныхъ поэтовъ быть не можетъ. Поддълывающіеся подъ народную музу поэты суть только собиратели поэзіи, которые заключають ее въ свои риторическія формы и показывають намь алмазы, уже очищенные отъ природной ихъ коры. Они отличаются отъ составителей разныхъ сборниковъ народнаго творчества тъмъ, что составители даютъ намъ сырой матеріалъ, не перегнанный чрезъ реторты логики и риторики—и заслуга послъднихъ, конечно, дороже для этнографіи. Истинные народные поэты живуть въ самомъ народъ,

но безъ имени и спеціальности занятій поэзіею. Имя имь—легіонь. Кто и когда сочиниль извѣстную пѣсню, балладу, легенду, сказку—народная память объ этомъ не заботится. Одинъ, при какомъ нибудь подходящемъ случаѣ или особомъ вдохновеніи, придумаль, другой додаль, десятый усовершенствоваль, сотый варьироваль какое либо произведеніе народной музы—и воть оно, передавалсь изъ устъ въ уста, переживаетъ вѣка и оказывается никѣмъ не сочиненнымъ, а родившимся изъ ничего, изъ атомовъ, какъ родится въ небѣ облако, какъ въ облакѣ молнія.

Возьмемъ недалекій примъръ.

Извѣстно, что русскіе рабочіе, при поднятіи или при передвиженіи тяжестей, когда нуженъ дружный напоръ всѣхъ рабочихъ силъ, поютъ обычную свою "Дубинушку", которая не имѣетъ особаго склада пѣсни, но сочиняется примѣнительно къ условіямъ работъ; напримѣръ:

Мы послъдню сваю втюримъ, Съвши, трубочки покуримъ. Эй, дубинушка, ухни! и т. д.

Или:

Мы подрядчика уважимь: Нутка шишь ему покажемь! Эй, дубинушка, и т. д.

Случилось, что во время работъ на кукуевскомъ проваль, одинъ изъ инженеровъ, наблюдавшихъ за работами по открытію погибшихъ, стоялъ на обрывъ и чистилъ апельсинъ. Вдругъ въ умъ запъвалы созръла пъсня:

Ъдять баре апельсины, А несчастные въ трясины (ѣ)! Эй, дубинушка, и т. д.

Если бы спросить потомъ мужичковъ: кто выдумалъ этоть запъвъ? каждый отвътиль бы: "а Господь его

въдаетъ! тамъ на Кукуевкъ ребята пъли". Много, много, если бы сказалъ кто нибудь: "придумалъ Афонька, шустрый былъ парень, а кто онъ такой—Господь его знаетъ: мало-ль народа отовсюду приходитъ на работы"!— Да и самъ Афонька, конечно, давно забылъ свою выдумку, какъ на другихъ работахъ непримънимую.

Такъ родится и всякая пъсня!

Можеть ли посл'в этого быть ричь о народномъ поэть?

Но не о русской пѣснѣ идетъ здѣсь рѣчь: она уже разобрана, изслѣдована и заявлена образованному міру многими авторитетными умами, какъ въ этнографическомъ, такъ и въ музыкальномъ отношеніяхъ. Коснемся здѣсь непочатой области народнаго творчества, невѣдомаго Россіи—творчества литовскаго.

Пъсня есть историческій намятникъ, свидѣтельствующій о характерѣ народа. Пѣсня—это руны, это гіероглифы, подающіе свой голосъ изъ глубины мрака вѣковъ. Въ пѣсняхъ потомки слышатъ голосъ своихъ предковъ, познають ихъ мысли и чувства, ихъ страданія и
радости. Народы воинственные, какъ готты и норманны,
завѣщали потомкайъ въ сагахъ своихъ всѣ ужасы войны, какъ народы страстные къ войнѣ. Вспомнимъ "Das
Niebelungenlied", "Hulda-Saga", "Эдду" и даже "Wege-Weiser", или военно-походные журналы меченосцевъ,
въ періодъ опустошительныхъ наѣздовъ ихъ на Литву.

Такими же представляли себѣ древніе народы и литовпевъ. Прежніе писатели изображали ихъ дикими варварами, темною и безбожною толпою, стадомъ кровожадныхъ звѣрей. Но народы знали ихъ только во время войны, на которую сами вызывали ихъ изъ глубины лѣсовъ и дебрей мепроходимыхъ, а въ войнѣ каждый народъ, особенно въ древніе вѣка, являлся дикимъ и свирѣнымъ.

Но сравнимъ скандинавскія саги и литовскія пъсни (дайносг).

Въ сочинении "Черты изъ исторіи и жизни литовскаго народа" (П. Кукольника, стр. 91) говорится:

"Если бы жажда крови, отміценія и любовь къ битвамъ дъйствительно господствовали въ сердцахъ древнихъ литовцевъ, то эти чувства долженствовали бы непремънно отозваться въ памятникахъ народныхъ страстей, добродѣтелей и слабостей, т. е. въ пѣсняхъ. Въ готическихъ и скандинавскихъ сагахъ виденъ въ полной мъръ народъ, дышащій войною. Тамъ на всякомъ шагу бой, кровопролитіе, стукъ оружія, стоны раненныхъ и умирающихъ. Въ литовскихъ песняхъ видно совершенно противное: тамъ въютъ теплые вътры, поютъ дъвы, пвътуть дуга, лиліи, розы; на могилахъ плачуть осиротъвшія дъти; родители-дочери, брать-брату подають руки и благословляють другь друга. Любовь не обезображена нигдъ не только безстыдствомъ, но даже неприличіемъ и ни одна изъ древнихъ пъсенъ не оскорбляетъ цёломудреннаго уха".

Стало быть, народъ литовскій, по природѣ своей, не быль воинственнымъ и кровожаднымъ.

Тоть жеккукольникъ, на стр. 112, пишеть:

"Древніе литовцы чрезвычайно любили п'вніе. П'всня сопровождала всъ случаи жизни-и радостные, и горестные, и торжественные. У литовцевъ пъли: жрецы, дъвушки, странствующіе нищіе и гадатели (Буртиники, народные пъвцы, скальды). Пъли во время свадьбы, похоронъ, пировъ, жатвы, жертвоприношеній, разныхъ празднествъ и, безъ сомнънія, выступая въ походъ.

Пъсня во время работы, а можетъ быть при религіозныхъ обрядахъ, называлась Гюдоймисъ, т. е. тор-Jedois made I com жественная, важная.

Пъсня любовная, грустная—Дайновимасъ. Она сопровождалась хоромъ и въ такомъ случат называлась Сокимисъ, отъ Соки-хоръ.

При хозяйственныхъ работахъ начинала пѣніе нафальница хора (запѣвальщица); прочія присоединялись къ ней и вторили.

Есть пъсни, составленныя въ видъ вопросовъ и отвътовъ, для чего, въроятно, хоръ раздълялся на двъ части.

До насъ дошель только одинъ родъ литовскихъ пѣ-сенъ — Дайносъ, собранныхъ профессоромъ, докторомъ богословія Реза (Rhesa) и изданныхъ въ переводѣ на нѣмецкій языкъ, въ Кенигсбергѣ, въ 1818 году. Въ этихъ пѣсняхъ изображаются чувства спокойныя, любовныя, семейныя. Въ иныхъ пробиваются темныя преданія о какомъ либо печальномъ приключеніи и съ необыкновенною нѣжностію выражена скорбь объ утратѣ милыхъ лицъ и горе сиротства.

Кромъ, такъ называемыхъ Дайносъ, существовали и другія пъсни, относящіяся къ случаямъ, на которые были составляемы. Такими были: Верксме-Гисти—пъсни плача; Марчю-Гисти— свадебныя пъсни; Джаукемо-Гисти— веселыя пъсни; Мылеймо – Дайносъ — пъсни любви.

Въ погребальныхъ иѣсняхъ, такъ называемыхъ *Ра́у- дахъ*, воспѣвалась скорбь о милыхъ лицахъ. *Ра́уды*, распѣваемыя жрецами при погребеніи витязей, заключали въ себѣ повѣствованія о ихъ подвигахъ, о побѣдоносномъ восходѣ на гору вѣчности и будущую жизнь ихъ, вмѣстѣ съ отцами, въ обществѣ боговъ.

Литовцы имѣли также историческія пѣсни.

Прелесть древнихъ литовскихъ пѣсенъ обратила на себя вниманіе ученыхъ иноземцевъ. Въ первый разъявились онѣ въ описаніи путешествія въ Москву Агасфера Вранда въ 1689 году. Впослѣдствіи Филиппъ Рушкъ

и профессоръ *Рези* (Rhesa) издали собраніе литовскихъ пъсенъ, которыхъ достоинству отдавали справедливость знаменитъйшіе нъмецкіе литераторы *Лессинг*ъ и *Гердеръ*.

Что касается до размівра древних дитовских пісень, то оні чаще всего писались суптийнным размирромо (?) и въ нихъ не было вовсе рифиь; посліднія являются уже въ позднійшихъ пісняхъ, какъ подражаніе инымъ языкамъ. Изъ числа нобыхъ пісень, находящихся по ныні въ употребленіи у литовцевь, ність ни одной безъ рифиь".

Ясно, что эти послъднія пъсни отнюдь не народныя. а дълшнимя; прежнія же писались не слиминимих разивромъ, а безъ всякаго размъра.

Вътомъ же сочинении Кукольникъ приводитъ не мало литовскихъ ивсенъ; но такъ какъ онв всв переведены на русскій языкъ съ польскаго, то, разумвется, не могуть имвть той цвны, какъ если бы были переведены прямо съ литовскаго. Такую же цвну имвють переводы на русскій языкъ литовскихъ пвсенть Н. Берга (съ польскаго. Москва. 1854) и Формунатова и Миллера, какъ переведенныя съ немецкаго. Разумвется, всякій переводъ—не то, что оригиналь, и если первый переводъ отъ него отдаляется, то второй переводъ, т. е. переводъ съ перевода, отходить отъ оригинала еще дальше.

Болье всёхъ оказали услугъ этнографіи Литвы, по части собиранія литовскихъ пъсенъ. Антонъ и Иванъ Юшкевичи. Но они не принесли никакой пользы русской литературъ, потому что Антонъ Юшкевичъ собралъ, а Иванъ Юшкевичъ издалъ въ Казани въ 1880—1882 годахъ три тома пъсенъ, безъ перевода на русскій языкъ, озаглавивъ:

"Лістувіское Даінос узрасытос пар А. Іускевице велюнос апігардоіе".

Ранве, въ 1870 году, также въ Казани, изданы Антономъ Юшкевичемъ "Свадебние обряды Виленских»/

Литовцевг", безъ русскаго же перевода; наконецъ "Литовскія свадебныя народныя писни", записанныя Антономъ Юшкевичемъ, изданы опять же Иваномъ Юшкевичемъ въ С.-Петербургѣ, въ 1883 г. ХХІV + 898. Впрочемъ, Иванъ Юшкевичъ издаль въ С.-Петербургѣ, въ 1867 году (Прилож. къ ХІІ тому записокъ Имп. акад. наукъ, № 1), "Литовскія народныя пъсни съ переводомъ на русскій языкъ"; но эта брошюрка всего только въ 43 страницы, съ 33-мя пѣснями. Стало быть, заслуга Ивана Юшкевича въ этомъ случаѣ очень не велика. Текстъ въ этой брошюрѣ писанъ русскимъ шрифтомъ.

Воть один изъ пъсней этого сборника:
Я съяда руту, я съяда мяту,
мих рубор АЯ съяда дилію,
мих Н посъяда свои юные дни,
Вите съ ругою.

Взросла рута, взросла мята,
Взросла лилія,
Взросла моя молодость,
Вмѣстѣ съ рутою.

Росла рута, росла мята, Росла лилія, Росла моя молодость, Вмѣстѣ съ рутою.

Цвѣла рута, цвѣла мята, Цвѣла лилія, Цвѣла моя молодость, Вмѣстѣ съ рутою. Я срывала руту, я срывала мяту, Я срывала лилію, Я срывала свои юные дни, Вмѣстѣ съ рутою.

Я плела ругу, я плела мяту, Я плела лилію, Я плела свои юные дни, Вмѣстѣ съ ругою.

Я носила руту, я носила мяту, Я носила лилію, Я носила свои юные дни, Вибстб съ рутою.

Вяда рута, вяда мята, Вяда лидія, Вяда моя молодость, Вмѣстѣ съ рутою.

Сохла рута, сохла мята, Сохла лилія, Сохла моя молодость, Вмѣстѣ съ рутою.

Прошла рута, прошла мята, Прошла лилія, Прошла моя молодость, Вмѣстѣ съ рутою. Изъ всёхъ литовскихъ пёсенъ, эта, быть можетъ, самая поэтичная. Сколько слезъ, горя и разочарованія немолодой дёвушки сокрыто въ ней! Это—истинно голосъ наболёвшей души. Изъ цёлаго склада пёсни видно, что она не дёланная, не нов'єйшее произведеніе какого нибудь заправскаго поэта, а безыскуственный, глубокій вопль простого сердца. Оригиналъ ея не им'єть риюмъ, хотя и выдерживаетъ разм'єръ хорея.

Вотъ первый куплеть ел въ оригиналь:

Сэяу руте, сеяу мете, Сэяу дилівле, Сэяу саво яунасъ дьенасъ, Драуге су рутелемъ.

Если не считать сборниковъ Антона Юшкевича, безполезныхъ для русской литературы, то можно сивло сказать. что намъ гораздо болбе извъстна латышская муза, нежели литовская и жмудская, благодаря громаднымъ заслугамъ виленскаго писателя И. Я. Спрогиса и московскаго Ө. Я. Трейланда (Бривземніакса), которые въ сборникахъ своихъ дали намъ полныя этнографическія свъдьнія о латышскомъ народь, до мельчайшихъ подробностей образа его жизни, мыслей, повърій, предразсудковъ, сказокъ, легендъ, пъсенъ и другихъ произведеній народнаго творчества. Оба эти писателя создали трудами своими цълую литературу. Чрезвычайно важный вкладъ этотъ въ науку опененъ своевременно, по высокому достоинству своему, ученымъ міромъ и поставилъ Спрогиса и Трейланда на ряду съ знаменитъйшими этнографами Россіи. Между тъмъ, Литва и Жмудь еще ждуть своего этнографа. Польская литература, въ отношеніи Литвы и Жмуди, богаче русской; русская же богаче польской по отношенію къ латышскому творчеству.

Сборникъ Спрогиса носитъ названіе: "Памятники латышскаго народнаго творчества". Вильна. 1868.

Въ предисловіи къ этому изданію Спрогисъ говорить:

"Латышская пѣсня была въ большомъ уваженіи еще въ глубокой древности, о чемъ одинаково свидетельствують-древнее народное преданіе и сохранившіяся досель въ устахъ народа пъсни. Тогда все начиналось и сопровождалось пъніемъ. Пъли молодые, пъли старые, пъли въ будни и въ праздники, пъли за работою и во время отдыха. И пъсня эта была такъ общирна, что обнимала весь міръ латыша. Не было ни одного предмета въ латыпіскомъ хозяйственномъ быту, даже въ кругу отвлеченныхъ понятій древняго латыша, который бы не быль обставлень поэтическими образами. Со всѣми этими предметами древняя латышка ведетъ свою задушевную беседу; она смется, плачеть съ ними, сътуетъ о своемъ завътномъ горъ, проситъ у нихъ совъта, помощи, добивается у нихъ будущаго. Тогда для латышей, въ маломъ образъ, былъ свой золотой, идиллическій выко. Но съ тёхъ поръ, какъ на латышскую землю спустился злой рокъ въ образъ нъмецкихъ рыдарей, употребленіе латышской пъсни, равно какъ и всъхъ другихъ поэтическихъ памятниковъ, стало уменьшаться, и можно положительно сказать, что въ настоящее время, когда нъмецкое господство надъ латышами достигло зенита своего величія, едва ли одна тысячная доля сохранилась изъ того, чёмъ такъ необъемлемо богата была поэтическая старина латышей".

Трейландъ, въ 1872 году, также издалъ сборникъ латышскихъ пъсенъ. Затъмъ, въ VI книгъ "Трудовъ этнографическаго отдъла" (Москва. 1881) онъ же издалъ "Матеріалы по этнографіи латышскаго племени", въ которыхъ заключаются: 1) "латышскія народныя пословицы и поговорки"; 2) "латышскія народныя загад-

ки"; 3) "латышскіе народные заклинаніе и наговоры", и 4) "народное врачеваніе и колдовство латышей дійствіємь". Наконець, въ 1-мъ выпускі "Сборника матеріаловъ по этнографіи", издаваемаго при Дашковскомъ этнографическомъ музей (въ Москві, въ 1885 году) Трейландъ собраль огромное число латышскихъ народныхъ сказокъ.

Изъ всъхъ сборниковъ этихъ выбирать что нибудь трудно; изъ нихъ нужно—или взять все, или не брать ничего.

А потому и отсылаемъ къ нимъ читателя.

#### III.

# древне-литовскія повърья.

# <sub>эн</sub> 1. Аистъ.

Почему всякое глупое върование называется *пред*разсудкомъ, когда върнъе слъдовало-бы называть его *по*-разсудкомъ, такъ какъ върить во всякий очевидный вздоръ можно только потерявши разсудокъ,—*по*-разсудкъ?

Мы, однако, отнюдь не смѣшиваемъ между собою повпръя, предразсудки и суевърія и въ настоящемъ сочиненіи даемъ имъ отдѣльныя рубрики. Онѣ совсѣмъ не одно и то же.

Повъръе есть върование въ легенду, сказку, какъ, напримъръ, въ то, что извъстное дерево, птица, звъръ, были прежде человъкомъ, а потомъ за то-то богами превращены въ настоящій видъ; что такой то валунъ принесенъ, съ такою-то цълію, нечистою силою и т. п.

Предразсудоко есть легкомысленное убъждение, не основанное на здравомъ смыслъ, во вліяніи разныхъ естественныхъ случайностей и явленій на дъла человъка. Такъ, напримъръ: не начинать никакого дъла въ тяжелый день; стараться встрътить новый мъсяцъ непремънно

съ правой стороны; вернуться съ пути, если заяцъ перебъжить дорогу; по ворожбъ предугадывать свое будущее и т. п.—это уже не повирые, а просто предразсудока или върнъе—безразсудока.

Суевпріе—это отнюдь не то, что повирье и предразсудокъ. Суевъріе есть прочная въра, сопряженная съ тайнымъ страхомъ во все сверхъестественное, чудесное, какъ, напримъръ: въ хожденіе мертвецовъ, въ существованіе въдьмъ, въ разныя чары и заклинанія, въ присутствіе живой демонической силы въ какомъ нибудь деревъ, животномъ, лъсу, озеръ и т. п. Эта въра ничъмъ не отличается отъ религіозной и неръдко бываетъ сильнъе ея.

Оттого наукѣ и религіи гораздо труднѣе бороться съ суевпріємъ, нежели съ повпріємъ и предразсудкомъ. Послѣдніе уступають образованію и уничтожаются имъ; а суевпріє впитывается въ плоть и кровь народа и неразлучно съ религіозными вѣрованіями его. Оно не уничтожается даже безвѣріємъ.

Встарину всё животныя и растенія говорили голосомь и языкомь человіческимь. Объ этомъ свидітельствують даже такіе знаменитые авторитеты, какъ Езопъ, Лафонтень и Крыловь. Животныя занимались всякимь человіческимь ремесломь и въ томъ числі даже литературою, которая и носила тогда названія отъ имени авторовь. Была литература воловья, медвіжья, и даже ослиная. А какъ дикихъ животныхъ было гораздо больше, нежели домашнихъ, то и въ литературів, по большему числу дикихъ писателей, преобладала дичь.

Легенды о такъ называемыхъ превращеніях людей въ различныхъ животныхъ чрезвычайно изобильны въ Литвъ. По народнымъ повърьямъ (Людеигг-изг-Попесъя. "Литва", стр. 46), каждый звърь, всякая птица, были когда то людьми, но въ наказаніе за ослушаніе воли боговъ, превращены въ настоящій ихъ видъ. Не всегда,

однако же, преступленіе было поводомъ къ такимъ превращеніямъ: страстная любовь, неутѣпное горе по утратѣ близкихъ сердпу людей, болѣзни, долгія страданія и т. п. очень часто бывали причиною, что боги, сжалившись надъ слабостію человѣческой природы, превращали несчастныхъ въ другія существа—даже въ деревья.

Аиста называють: собственно въ Литвѣ стеркусъ, на Жмуди—гиндрасъ и гижутисъ, а въ прусской Литвѣ—гипкоисъ. Это говоритъ тотъ же Людвигъ-изъ-Покевья (Юдевичъ) на стр. 74 и прибавляетъ слѣдующую легенду о происхожденіи аиста.

Прамжимаст, по созданіи міра, зам'втиль, что онь населилъ вемлю слишкомъ большимъ числомъ разныхъ вредоносныхъ гадовъ и пожалълъ о своей отибкъ; желая же поправить ее, собралъ всъхъ гадовъ въ огромный кожанный мёшокъ и приказалъ одному сильному человъку Стонелису утопить мъшокъ въ ближайшемъ озеръ, причемъ строжайше запретилъ ему развязывать мъщокъ и заглядывать внутрь его. Стонелисъ, взявъ мъшокъ на плечи и приближаясь къ озеру, нодумалъ: "что же туть будеть дурного, если я загляну въ мъшокъ? Можеть быть тамъ какія нибудь сокровища?" Но какъ только развязаль мѣшокъ, всѣ гады выскочили изъ него и разсъялись по всему липу земному. Испуганный этимъ происшествіемъ и огорченный своимъ непослушаніемъ божескому повельнію, Стонедись возвратился къ богу, который въ то время грълся у огня, разложеннаго изъ еловыхъ вътвей-и трепеща, сознался въ своей винъ. Разгивванный богъ схватилъ горввшее полвно, ударилъ имъ преступника и превратилъ его въ аиста, съ тъмъ, чтобы онъ всю жизнь собиралъ пресмыкающихся, которыхъ, по собственной винъ, распустиль по землъ. По этой причина аисть до сихъ поръ ловить гадовъ, а черное пятно у него на хвость осталось въ память того удара, который получиль онъ горячею головнею.

Есть и другое преданіе объ аистѣ—и мы не встрѣчали еще его въ печати, а именно:

Когда то аиста и волка содержали корчмы въ одномъ мъстечкъ. Волкъ былъ тароватъ и давалъ водку всъмъ въ долгъ; аистъ, напротивъ, былъ скупъ и продаваль ее только за чистыя деньги. Когда же послъдовало воспрещение животнымъ торговать "распивочно и на выносъ" и монополія этой торговли предоставлена была только человъку, то аистъ и волкъ, разумъется, должны были ликвидировать свои дёла, вслёдствіе чего аисть саблался богатымь, а волкь, за свою довърчивость, нищимъ. Кредиторы волка, хотя и увъряли его, что капиталы его находятся "въ върныхъ рукахъ", однако, волку отъ этого отнюдь не стало легче. Прощаясь съ аистомъ, пьяницы, за скаредность его, вылили на него бочку дегтю, но онъ такъ счастливо увернулся, что деготь попаль ему только на хвость. Счастливый, что могь спасти свои деньги, онъ улетель съ ними въ пространство; но при перелеть чрезъ одно болото, мъшокъ съ деньгами какъ то выскользнулъ у него изъ лапъ и упалъ въ воду. Должно быть онъ очень глубоко увязъ, когда аистъ до сихъ поръ бродить по болоту и ищеть его съ особымъ вниманіемъ. Волкъ же, потерявъ всякую надежду на уплату ему "върными руками" долга, распоряжается съ кредиторами по своему: безъ всякаго судебнаго приговора и исполнительнаго листа забираетъ за долгъ-у кого теленка, у кого овцу, а если долгъ поважнъе, то и коня или корову. Конечно, самоуправство это и ему, такъ же, какъ и людямъ, не всегда проходить безнаказанно.

Мъста, на которыхъ аисты выотъ гнъзда, считаются въ Литвъ счастливыми, и потому всякій старается приманить въ свою мъстность этого друга дома и охранителя (по мнънію простонародія) отъ ударовъ грома и градобитія, устраивая для него гнъздо на крышъ дома

или на ближайшемъ деревъ. Для гнъзда достаточно укръпить на данной высотъ старое колесо отъ телъги.

Въ народъ, по словамъ Юдевича, живетъ повъріе, будто аистъ каждую весну выбрасываеть изъ своего гнъзда или пыпленка, или яйдо и что въ первомъ случав это предвъщаетъ неурожай, а въ послъдшемъ изобиліе плодовъ земныхъ. Между тъмъ, этого никогда не бываетъ, но случается совсъмъ иное, когда мальчишки, выкрадывая одно изъ аистовыхъ яицъ, подкладываютъ на мъсто его гусиное, индючье или утиное яйдо.

Вотъ достовърный фактъ, видънный мною лично:

Въ деревнъ Сильпіи, Келецкой губервіи, въ 1843 году, было аистово гнъздо на высокомъ сухомъ деревъ. Весною прилетъла пара аистовъ и заняла его. Когда самка положила яйца, деревенскіе мальчишки, воспользовавшись моментомъ отлета на кормъ обоихъ аистовъ, подмѣнили одно яйдо гусинымъ. По выводѣ птенцовъ, птицы подняли страшный крикъ; вследъ загемъ самецъ исчезъ въ воздухъ, а самка стала на одной ногъ и уныло повъсила голову. Это было рано утромъ. Часамъ къ 3 по полудни на лугу за деревнею начали появляться аисты въ огромномъ числъ; они группами взлътали къ гнъзду, кружились надъ нимъ, какъ бы для убъжденія въ истинъ и улетали обратно на лугъ. Во все это время самка сидъла недвижно, опустивъ голову и какъ бы безучастно ко всему происходившему. Между тъмъ, среди луговыхъ аистовъ замътно было какое то сильное движение: закинувъ головы назадъ, они трещали съ видимымъ безпокойствомъ. Наконецъ, прилетъли два аиста-въ какомъ качествъ неизвъстно: въроятно мужа и судьи или двухъ конвойныхъ, взяли самку съ собою и посадили ее въ самой серединъ круга аистовъ. Тогда начался, въроятно, судъ: птиды неистово трещали, стараясь перекричать другь друга. Кончилось тымь, что

одинъ аистъ-неизвъстно, мужъ или палачъ, подошелъ къ мнимой преступницъ, неподвижно стоявшей на срединъ, и клюнулъ ее въ голову; вслъдъ за нимъ все стадо бросилось на нее, размътало пухъ ея по луговинъ и чрезъ нъсколько минутъ остался на травъ одинъ общипанный трупъ самки. Вся деревня присматривалась къ процессу съ величайшимъ любопытствомъ и никто не могъ объяснить себъ причины этого явленія. Но вдругъ изъ стада отдёлилось нёсколько апстовъ, взлетёли на гнъздо, заклевали находившихся въ немъ птенцовъ и мертвыхъ выкинули на землю. Тогда только выяснилась причина: въ числѣ мертвыхъ птендовъ были два юныхъ аиста и одинъ гусенокъ. Въ деревнъ поднялся плачъ. Вск поняли, что аисты никогда уже не возвратятся въ эту мъстность, перестануть покровительствовать ей, а можетъ быть и сожгутъ деревню горящими головешками, какъ обыкновенно мстять они за убійство ихъ и другія преследованія со стороны людей. Крепко жалели невинно погибшую самку. Гминный войть приступиль къ разследованію, какимъ образомъ гусенокъ попаль въ гитало аистовъ? Нашелъ виновныхъ мальчищекъ и родители кртпко выпороли ихъ розгами въ волостномъ правленіи; но это не повело уже ни къ чему: весною 1844 года аисты въ Сильпію не возвратились и даже въ окрестностяхъ ея ни одно гнездо ихъ занято не было даже впоследствіи.

Это, однако же, не единственный случай аистоваго правосудія. Не мало есть разсказовъ объ этомъ, не только словесныхъ, но даже въ печати, и притомъ на всъхъ языкахъ.

К. Вл. Войцицкій, въ "Zarysach Domowych", говорить, что въ концѣ августа 1835 года онъ самъ насчиталъ на лугу до 200 аистовъ, собравшихся вмѣстѣ. Это было въ послѣдніе дни ихъ перегринаціи, предъ зимнимъ отлетомъ. Крестьяне такія сборища называютъ

"сеймикомъ" или "вѣчемъ аистовъ" и увѣряютъ, что остающійся по болѣзни аистъ плачетъ слезами, видимо льющимися изъ глазъ.

Въ "Виленскомъ Магнетическомъ Памятникъ" за 1816 годъ была помъщена записка какого то ксендза І. S. объ аистъ. Юцевичъ повторяетъ эту записку, не ручаясь, впрочемъ, за ея достовърность. Вотъ что пишетъ ксендзъ:

"Всемъ известенъ довольно распространенный у насъ обычай приручать журавлей или аистовъ и держать ихъ въ кухняхъ, какъ для собственнаго удовольствія, такъ и для очистки жилищъ отъ жабъ, гадовъ и т. и. У одного пом'єщика въ Польш'є былъ также прирученный аистъ, который л'єто жилъ въ кухн'є, осенью отлеталъ, а на весну возвращался въ ту же кухню. Предъ самымъ отлетомъ его, одною осенью, пом'єщикъ привязалъ ему на шею жестяной ярлычекъ съ надписью:

"Haec ciconia de Polonia".

(Этот аист из Польши). Весною аист возвратился съ золотою табличкою, на которой было написано:

"India, cum donis, Remittit ciconiam Polonis".

(Индія ст дарами возвращает аиста поляками). Обрадованный пом'вщикъ, осенью, привязалъ къ шев аиста опять жестяной ярлыкъ съ прежнею надписью. На весну аистъ прилетълъ, но уже не съ золотою, а съ м'вдною дощечкою, на которой была надпись:

"Grata Japonia Pro haec ciconia".

(Благодарная Японія за этого аиста). Неизв'єстно, продолжаль ли любознательный пом'єщикъ дальнійшія дознанія о томъ, куда аисты улетають на зиму?

По митнію древних литовцевь, аисть возвращается съ нильских береговь въ концт марта и приносить на своихъ крыльяхъ плиску. Появленіе аиста было причиною всеобщаго веселья въ Литвт. Многіе хозяева устраивали у себя, въ честь прилета дорогого гостя, пирушки, на которыя приглашали друзей и знакомыхъ, и праздники эти назывались Стеркавимист, отъ Стеркуст — аисть. Въ христіанское время днемъ прилета аистовъ начало считаться Благовпщеніе (Бловпщуст).

# 2. Кунушна (Гѣгуже).

По Юдевичу ("Литва", стр. 47), Кукушка въ народных повърьях занимаеть первое мъсто между тъми несчастными, которые подверглись превращенію. Гигуже была когда-то дочерью богатаго литовскаго боярина (багорся), имъла трехъ братьевъ, которыхъ горячо любила и посвятила всю свою жизнь, чтобъ угадывать и исполнять малъйшее ихъ желаніе. Но вотъ запылала война доблестнаго Кейстута съ меченосцами и всѣ три брата стали подъ его знамена. Кончилась война, литовцы возвратились побъдителями, торжествующіе, не вернулись только братья Гъгужи: они пали на полъ битвы и кони ихъ прибъжали безъ съдоковъ. Долго плакала и горевала Гагуже; наконецъ, забравъ съ собою братнихъ коней, удалилась изъ дома родительскаго въ лъсную глупь, и тамъ проводила жизнь въ плачь и рыданіяхъ, до тъхъ поръ, покуда боги не сжалились надъ нею и не превратили ее въ Кукушку. Съ тъхъ поръ Гпгуже всякій годъ весною, въ то самое время, когда погибли ея братья, грустнымъ кукованіемъ своимъ оплакиваетъ ихъ кончину.

У латышей живеть о Кукушкѣ совсѣмъ другое преданіе. Бривземніаксъ, въ "Латышскихъ народныхъ сказкахъ" ("Сборникъ матеріаловъ по этнографіи", вып. 2, Москва. 1887, стр. 39), пишетъ:

"Встарину у одной матери была дочь красавица. Однажды мать взяла дочь да зарѣзала (за что?), а косточки ея завязала въ платочекъ, повѣсила на верхушкѣ липы и сказала: "кукуй теперь, моя доченька, покуда будетъ эта земля, это солнышко! Изъ этихъ косточекъ вышла Кукушка, которая, по слову матери, кукуетъ и по нынъ".

Сказка эта какъ бы не окончена.

По смыслу сказки, до катастрофы съ дочкой, кукушки еще не было на свътъ; откуда же мать взяла
слово "кукуй"? За что мать заръзала красавицу дочку?
Есть русская сказка, что мать приказываетъ дъвкъ—
Чернавкъ извести дочь за то, что зеркальце сказало
матери (или даже мачихъ), что дочь лучше ея. Въ этомъ,
по крайней мъръ, есть смыслъ, тогда какъ въ латышской
сказкъ его нътъ. Почему мать новъсила на липъ косточки заръзанной дочки, а не тъло ея? Куда же дъвалось тъльцо съ косточекъ? Скушала его матушка, чтоли, какъ Баба-Яга? Или же соскоблила тъльцо съ косточекъ— и тогда съ какою пълью?....

Простой народъ въ Литвѣ—говоритъ Юцевичъ—питаетъ къ кукушкѣ, такъ же, какъ и къ аисту, какое то особенное уваженіе и приписываетъ ей много хорошихъ качествъ. Ворожитъ или гадаетъ ею и число звуковъ ея служитъ отвѣтомъ на заданный вопросъ. Послѣдніе нерѣдко излагаются въ формѣ пѣсни, напримѣръ:

Ты, милая сестрица, Пестрая кукушечка, Пася братнихъ коней, Прядя шелковыя нитки, Скажи, скоро-ль выйду замужъ? Закукуй, кукушечка, Скажи, перелетная, На зеленой ели сидя, На золотомъ стулѣ отдыхая, Братнихъ коней пасучи, Шелковые платки помѣчая, Золотой тесьмой обшивая, Мои года считая, Долго-ли жить мнѣ на свѣтѣ?

Въ Литвъ до сихъ поръ живо повърье, будто боги превращають въ кукушекъ тъхъ, которые слишкомъ много тоскують по своихъ умершихъ родственникахъ. Есть даже пъсня, поддерживающая это повърье:

Бхалъ я чрезъ мостъ, Но съ коня свалился И упалъ въ ръку.

> Тамъ я лежалъ Три недёли, Никто по мнѣ не тосковалъ.

Вотъ прилетѣли Три пестрыя кукушки, Среди темной ночи.

> Одна куковала Въ концъ моихъ ногъ, Другая при головъ,

А та третья, Пестрая кукушечка, Куковала при сердцѣ.

> Жена при ногахъ, Сестра при головѣ, Мать при сердцѣ.

Жена тосковала Три недѣли, Сестрица три года,

> А матушка, Кормилица, До смерти при сердив.

Жена провожала Чрезъ родныя поля, Сестрица до церкви,

> А матушка, Кормилица, До самой могилы!

У Сербовъ также есть подобная пъсня, но она отличается другимъ варіантомъ. Тамъ, молодой человъкъ, унавъ съ высоты, разбился. Послали за славною кудесницею, лъсною нимфою Вилею, но та потребовала большой награды: отъ матери-правой руки, отъ сестрыпрекрасной ея косы, а отъ жены-маленькую нитку перловъ изъ ожерелья. Мать отдала свою руку, сестра отръзала себъ косу, а жена ни за что не хотъла разстаться съ своими пердами, какъ подаркомъ отца. Виля разгнъвалась и уморила больного. "Три кукушки кукують надъ теломъ" — продолжаеть песня: "одна — дни и долгія ночи, другая—предъ восходомъ и закатомъ солица, третья-кое-когда, изрѣдка. Та, которая горюетъ дни и ночи-мать погибшаго сына; та, что плачетъ по зарямъ-сестра его, а та, что кое-когда застонетъмолодая, чернобривая его женушка".

Для указанія сходства литовскихъ повърій съ славянскими, приводимъ здъсь окончаніе одной галиційской (червоно-русской) пъсни.

На горъ громовая стръла убила "вдовинаго сына" — и вотъ прилетъли три "зозуленьки":

Одна впала по конэць головки,
А другая впала по конэць ножечокъ,
А третья впала по конэць серденька,
По конэць головки—маты старенька,
По конэць ножечокъ—сестрычка ридненька,
По конэць серденька—то его мылэнька;
Где матенька плаче—кровавая ричка,
Где плаче сестрыця—кровава крыныця,
Где плаче мылэнька—сухая стеженка;
Бо матенька плаче—видъ року до року,
А сестрыця плаче—кильки загадае,
А мылэнька плаче—иншу гадку мае:
О иннымъ гадае!...

Въ Литвъ до сихъ поръ существуетъ праздникъ въ честь кукушки, — его празднуютъ на 3 день Пасхи, именно: молодежь со всей деревни собирается въ одинъ домъ и тамъ поютъ пъсни. Потомъ наступаетъ танецъ, называемый Гюгужи. Танцемъ руководитъ, по выбору, самая пригожая дъвушка изъ села (Гюгъля). Всъ становятся въ кружокъ и "царицу-кукушку" (Каралюни-Гюгъли) сажаютъ посрединъ круга, съ завязанными глазами, на стулъ. Послъ этого начинается вокругъ ея пляска, по окончани которой парни подбъгаютъ къ парицъ праздника и, взявъ ее за руку, припъваютъ:

Каролюни-Гъгъли, куку! куку! Ашъ тава, бролялись, куку! куку!

(Царица-кукушечка, куку! куку! Я твой братецъ, куку! куку!)

Сидящая, угадывая по голосу тёхъ, къ которымъ больше всего благоволитъ, выбираетъ трехъ парней и цёлый этотъ день только съ ними и пляшетъ; затёмъ, въ продолжение всего года, она называетъ ихъ братьями, а они ее сестрою (Юцевичг, l. с.).

#### 3. Соловей (Лакштингала).

Тотъ же Юцевичъ (Людвигъ-изъ-Покевья), на стр. 62, передаетъ слъдующее повърье о *Соловъп*:

Встарину надъ р. Вильею жилъ молодой человъкъ, по имени Дайнаст (дайнаст-пъсня). Онъ влюбился въ прекрасную дъвушку Скайстою, но не имълъ взаимности. Напрасно онъ употреблялъ всѣ усилія, чтобъ пріобръсть ея любовь: пъль по утрамь и вечерамь подъ окномъ ел прекрасныя пъсни, встръчаль ее, по возвращенім вечеромь съ поля и считаль себя счастливымь, если могъ взглянуть на нее, привътствовать нъжнымъ словомъ. Но надмънная красавица не хотъла слушать ни пъсенъ его, ни привътствій. Наконецъ, видя, что ничемъ не тронетъ сердца красавицы, онъ съ отчаянія утопился въ ръкъ. Сострадательные боги превратили его, послъ смерти, въ Соловъя, съ тъмъ, чтобы своимъ голосомъ, которымъ не могъ тронуть своей возлюбленной, утвшаль несчастныхъ любовниковъ. Скайстоя слишкомъ поздно почувствовала любовь къ своему обожателю-именно тогда, когда его не было уже на свътъ и умерла съ горя. Боги превратили ее въ Столиственную Розу (центифолію), которая и до нынъ тогда только начинаетъ разцвътать, когда соловей перестаеть пъть.

Эта прелестная идиллія только и могла родиться въ ковенской поэтической *Алексотть*, гдѣ существоваль храмъ богини любви *Мильды* и гдѣ дѣвственные лѣса изобиловали розами съ другими цвѣтами, наполнявшими воздухъ благоуханіемъ.

#### 4. Сова. (Пеледа).

Это была вдова одного знатнаго боярина (багорсг), съ множествомъ дѣтей. Но она нисколько не заботилась о дѣтяхъ своихъ и передала на попеченіе сорокъ и галокъ, а сама цѣлыя ночи на пролетъ проводила въ пляскъ и забавахъ съ молодыми людьми, цѣлые же дни спала непробудно опять до ночи.

Однажды богъ зашель къ ней днемъ и нашелъ дѣтей голодными, оборванными и заливавшимися слезами. "Гдѣ ваша мама?" спросилъ онъ. "Спитъ", отвѣчали дѣти. Въ другой разъ зашелъ онъ ночью. "Гдѣ ваша мама"? спросилъ богъ. "Не знаемъ", отвѣчали дѣти. "Я знаю гдѣ она", сказалъ богъ— и въ тогъ же часъ превратилъ беззаботную маму въ сову, съ тѣмъ, чтобы она продолжала спать днемъ, а жить ночью. (Повъръе изъ окрестностей Полангена).

### 5. Воронъ. (Крауклисъ).

Воронг, по мнѣнію народа, распространенному въ Лидскомъ уѣздѣ, проклятая и зловѣщая птица. Въ немъ сидитъ душа измѣнника своему отечеству. Герой Кейстуму ввѣрилъ когда то одному изъ бояръ своихъ, по имени Крауклису, отрядъ, для отраженія нападенія рыпарей. Бояринъ, польстившійся на золото, которое давно предлагали ему рыцари, продаль имъ отрядъ свой и они истребили его поголовно. Кейстуть впослѣдствіи, взявъ этого боярина, въ числѣ другихъ рыцарей, въ плѣнъ, приказалъ влить ему въ горло растопленное золото, а боги, по просьбѣ жены Кейстута Бируты (бывшей Вейдалотки), превратили черную душу измѣнника

въ ворона, который и до сихъ поръ скрываетъ свой позоръ отъ людей въ глухихъ лѣсахъ, или на уединенныхъ кладбищахъ.

## 6. Гусь, (Зунсисъ).

Повърье о немъ слъдующее:

Одинъ сельскій житель имѣлъ чрезвычайно глупую дочь, а потому онъ и приказалъ ей сидѣть невылазно за печкою и никогда не показываться людямъ. Однажды, лѣтнею порою, когда всѣ были на работѣ въ полѣ, зашелъ въ хату сѣдой, какъ лунь, старичекъ (это былъ самъ богъ), обощелъ цѣлую секлицу (свѣтлицу) и не видя никого, хотѣлъ уже уходить, какъ вдругъ изъ-за печки отозвалась глупая дѣвка: "га, га, га! " Божекъ такъ разсердился, что превратилъ ее въ гусыню, и потому въ народѣ донынѣ гусъ считается эмблемою глупца. Есть даже поговорка: "глупъ, какъ гусъ " (Юцевичъ, стр. 127).

Хотя Стрыйковскій и усиливается доказать итальянское происхожденіе литвиновь, однако, они никогда не слыхали о геройскомъ подвигѣ капитолійскихъ гусей, которые со страху подняли паническій крикъ и тѣмъ спасли Римъ. Не смотря, однако, на то, нѣкоторые дворянскіе литовскіе роды имѣютъ въ героѣ своемъ гуся, навязаннаго имъ польскими дворянскими родами. У поляковъ героъ этотъ называется "будзишх", отъ слова будить и происходить по прямой линіи отъ капитолійскаго "неусыпнаго" гуся; у литовцевъ же героъ этотъ называется "папарона", отъ слова папаронасъ—часовой, военный стражъ.

# 7. Собака, (Шува или Шуни).

Литовскіе воины и охотники уважали собаку наравнѣ съ конемъ. Собакъ даже сжигали на кострахъ вмѣстѣ съ тѣлами умершихъ героевъ. Простой народъ не менѣе уважалъ собаку за то, что она была стражемъ и другомъ дома и предсказательницею хорошихъ и дурныхъ событій. Крестьянинъ никогда не обзоветь никого собакою; напротивъ, животное это, за его благородный характеръ и вѣрность, ставится всѣмъ въ примѣръ.

На сколько удалось собрать въ народѣ повѣрья о собакѣ, оказывается, что причина уваженія ся была слѣдующая:

Когда то богъ крепко разгневался на родъ людской, и решился уморить его голодомъ. Иопили неурожай, появился голодъ. Собака начала жалобно выть. Богъ, не имъя ничего противъ собаки, бросилъ ей кусокъ хлеба; но собака, не дотрогиваясь до него, начала просить бога, чтобы онъ далъ хлеба и людямъ; когда же богъ отказалъ, то и она отказалась отъ хлеба и сказала, что не желаетъ пережитъ своихъ кормильцевъ и умретъ вместе съ ними отъ голода. Вогъ, умиленный такимъ благор одствомъ своего творенія, простиль людямъ и снова даровалъ имъ изобиліе плодовъ земныхъ.

Въ языческой Литвѣ, кромѣ уваженія собаки, воздавались ей еще какого то особаго рода почести; но въ чемъ именно онѣ состояли, изъ историческихъ сказаній не видно; сохранилось только въ окружномъ посланіи, писанномъ на литовскомъ языкѣ, епископомъ жмудскимъ Тарчевскимъ, указаніе на одинъ обрядъ: "атминимусъ Шунунъ процевнику", т. е. "поминки собакъ трудолюбивыхъ" (или "труженицъ"). Юцевичь добылъ это носланіе изъ архива жмудскихъ епископовъ въ Ольсядахъ. (М. Ольсяды, въ 10 верстахъ отъ г. Тельшъ, бывшая резиденція епископовъ жмудскихъ). Къ сожалѣнію, въ

посланіи обрядъ называется только по имени, но безъ указанія прочихъ его подробностей—и порицается епископомъ строго, наравнів съ другими языческими заблужденіями.

Между тёмъ, извъстно по нынѣ только то, что каждая хозяйка, при печени хлъба, выпекала изъ остатковъ тѣста послъдній маленькій хлъбецъ для собаки, въруя въ увеличеніе чрезъ то урожая. Кромѣ того, литовцы имѣли обычай кормить собакъ изъ собственнаго рта. Противъ этого сильно возстаеть посланіе того же епископа Тарчевскаго, въ которомъ сказано:

"..... Есть у васъ поганскій обычай: вы за столомъ отдаете первый и посл'вдній кусокъ собакъ, въруя,
будто это принесетъ изобиліе дому вашему. О Боже
нашъ! какіе же у Тебя слуги! Нътъ, это не Твои слуги,
это рабы діавола! Люди-христіане! предостерегаю васъ
во имя Господа Іисуса Христа, отстаньте отъ вашихъ
нечестивыхъ обычаевъ, не причиняйте позора католическому имени! Вы, изъ тъхъ самыхъ устъ, которыми
пріемлете тъло и кровь Бога, даете хлъбъ скверному
животному... Вы, будучи участниками всъхъ даровъ
небесныхъ, дълаете и исовъ участниками тъхъ же даровъ, давая имъ изъ своего рта..." и т. д.

Нынѣшніе крестьяне на Жмуди стараются соблюдать приказаніе своего уважаемаго архипастыря, хотя и не могуть еще отрѣшиться отъ языческаго своего обычая, и потому теперь сами не откусывають перваго и послѣдняго куска для собаки, а приказывають дѣлать это дѣтямъ, которыя не были еще у св. причастія. (Ноцевича, стр. 120).

Предсказаніямъ собакъ вѣрили вполнѣ. Ежели въ селеніи всѣ собаки поднимали вой—это предсказывало пожаръ, войну или моръ. Причемъ (по тому же Юцевичу, стр. 151) различали: если онѣ поднимали головы вверхъ—къ пожару; если опускали къ землѣ—къ

войнъ, а если выли лежа—къ голоду и моровому повътрію. Вой одиночной собаки, особенно, ежели она при этомъ смотритъ на уголъ дома своего хозяина, и роетъ землю, непремѣнно предсказываетъ смерть кому нибудь изъ жильцовъ дома. Кромѣ того, по собакѣ до сихъ поръ отгадываютъ многое: ежели она уныла—предсказываетъ печаль для дома; ежели ѣстъ траву—знаменуетъ дождъ; а если лежитъ на всѣхъ четырехъ ланахъ, брюхомъ на землѣ, то непремѣнно предсказываетъ жары или сильные морозы, при постоянной погодѣ.

О благородномъ самоотверженіи и беззавѣтной храбрости собаки, при борьбѣ человѣка съ лютымъ звѣремъ, переполнены всѣ охотничьи разсказы—и кому они неизвѣстны?

#### 8. Козелъ, (Ожисъ).

Козель считался любимпемъ Раганы или вѣдьмы Ляздоны; поводомъ къ такому убѣжденію послужилъ крикъ бекаса (вальдшнепа), похожій на блеяніе козла. Литовцы вѣрили, что Ляздона разъѣзжаетъ по воздуху на козлѣ, котораго такъ мучитъ, что онъ кричитъ отъ боли. Встарину онъ назывался Мълялист Ляздоност (любимецъ Ляздоны), а нынѣ называется просто Мълялист Ожист. Въ "Праздникъ козла", совершаемый язычниками-литовцами, разъ въ годъ, осенью, по сборѣ хлѣбовъ, съ большою торжественностью, приносился въ жертву богамъ козелъ.

Съ введеніемъ понятія о чорть, усвоено было и убъжденіе, что онъ при появленіи въ общество людей, непремьнно маскируется козловою шкурою, съ прибавленіемъ медвъжьихъ когтей и кошачьяго хвоста. Легендъ и сказокъ объ этомъ—всъмъ, впрочемъ извъстныхъ—

тысячи. Нашъ старый знакомець, *Громобой*, также встрътиль подобную маску

"Надъ пѣнистымъ Днѣпромъ-рѣкой".

Даже въ сороковыхъ и чуть ли не въ пятидесятыхъ годахъ нынешняго столетія циркулировала во всей Россіи сказка, которой, къ сожальнію, върили даже очень интеллигентные люди-будто какой то мужикъ нашелъ кладъ и сознался въ этомъ... кажется, мельнику. Мельникъ пожелалъ отнять кладъ, для чего заръзалъ козла, надёль на себя его шкуру, явился къ мужику въ полночь, и выдавая себя за чорта, потребовалъ обратно свой кладъ. Испуганный мужикъ выбросилъ за окошко деньги, которыя мельникъ подобраль и унесь съ собою; но потомъ не могъ стащить съ себя козлиной шкуры, которая, вмёстё съ рогами, приросла къ нему на въки. Въ этомъ видъ возили, будто бы, мельника по вевмъ святымъ и чудотворнымъ мвстамъ Россіи, гдв, однако же, онъ не могъ отмелить своего грѣха, хотя деньги и возвратиль мужику.

Разсказы эти обыкновенно имѣютъ одинъ исходъ: никто не видалъ чуда лично, но "слышалъ отъ върнаго человъка, который видалъ собственными глазами".

## 9. Волкъ, (Вилку).

Волкъ давно считается самымъ заклятымъ врагомъ человѣческаго рода и особенно принадлежащаго людямъ живаго инвентаря.

По народнымъ повърьямъ, самый лютый изъ волковъ тотъ, который можетъ самъ, по произволу, оборачиваться то въ волка, то въ человъка. Такой оборотень (солколакъ) можетъ, въ образъ человъческомъ, безпрепятственно войти въ середину стада, выбрать тамъ для

себя любое животное и унести его, оборотившись волковь. Случается очень часто, что недостаточно ублажаемый на свадьов колдунт, превращаеть въ стадо волковъ цълую свадьоу: жениха съ невъстою и всъхъ поъзжанъ. Не разъ также случалось, что подъ шкурою убитаго волка находили полный свадебный нарядъ жениха, невъсты или дружки. Всякій литвинъ—да не только литвинъ, но и всякій человъкъ славянскаго происхожденія, готовъ подъ присягою показать, что все сказанное выше дъйствительно случается. Ив. Як. Спрогист собралъ много разсказовъ объ этихъ ужасныхъ происшествіяхъ и помъстилъ ихъ въ 1-мъ выпускъ "Сборника Матеріаловъ по Этнографіи", изд. при Дашковскомъ этнографическомъ музев, въ Москвъ, въ 1885 году.

I. Трейлиндъ (Бривземніяксъ), въ томъ же "Сборникъ", приводитъ также очень много такихъ страшныхъ разсказовъ по этому же предмету. И все это върно, потому что записано со словъ самыхъ "върныхъ людей", которые, хотя сами лично ничего подобнаго и не видъли, но "слышали от самихъ очевидиевъ".

Отсылаемъ любонытныхъ къ этому "Сборнику".

Между тімь, встарину, волкъ совсімь не быль такимъ злымъ, какъ теперь. Прежде онъ быль добріє и скромніє ягненка, служиль людямъ охотно и даже насъстада. Но сами люди его испортили и сділали врагомъ какъ себі, такъ и своей скотині. Разумієтся, и възтомъ, какъ и во всемъ дурномъ, виновата женщина! Вотъ что г-ну Блау разсказывалъ объ этомъ одинъ вірный человікъ" въ приході Эргле (Лифл. губ.). "Встарину волкъ служиль настухомъ. Каждый разъ,

"Встарину волкъ служилъ пастухомъ. Каждый разъ, когда онъ пригонялъ домой скотъ, хозяйка должна была испечь небольшой хлѣбецъ и дать волку за дневную службу. Въ одной деревнѣ хозяйка была очень скупа: ей надоѣло каждый день приготовлять по хлѣбу. Она взяла камень и накалила его въ цечи; когда волкъ

пришель, она бросила ему раскаленный камень. Волкъ ехватиль его, вмѣсто хлѣба, и обжегь себѣ морду. Отъ того обжога и по нынѣ у волка конецъ морды черенъ. За такую неблагодарность волкъ пожаловался на хозяйку богу. Вогь велѣлъ волку жить въ лѣсу, какъ самому, молъ, хочется и выбирать изъ хозяйскаго стада любую скотину въ нищу. Съ тѣхъ поръ волки живутъ въ лѣсахъ и ѣдятъ овецъ и другую скотину изъ хозяйскихъ сталъ".

Стало быть, во всемь виноваты люди. И по дѣломъ имъ! А что волкъ вначалѣ любилъ ихъ, это не подлежитъ сомнѣнію. Выше мы видѣли, въ статьѣ "Аистъ", что волкъ даже торговалъ "распивочно и на выносъ" и отпускалъ людямъ водку въ долгъ. Влагодѣяніе не изъ послѣднихъ!

Юпевичь, на стр. 41, говорить, что волкъ въ древности, въроятно, пользовался какимъ то особымъ уваженіемъ, такъ какъ простонародіе донынъ, чтобы не прогнѣвить его, не навываеть его волкомъ, а Лаукинисъ (полевикъ), и не говорятъ "волки воютъ", а "Лаукинисы поюмъ".

По Эйнгорну ("Reformatio gentis Letticae in Dukatu Curlandiae"), латыни, въ декабрѣ мѣсяцѣ, приблизительно около Рождества Христова, соблюдали языческій обычай "отогнанія волковъ" (Gainat Wilkas), т. е. на перекресткѣ, при особыхъ языческихъ церемоніяхъ, жертвовали волкама козу, съ цѣлью отвращенія вреда отъ скота—и увѣряли, что послѣ такого жертвоприношенія, волкъ во весь годъ скоту вреда не принесетъ, если онъ пройдетъ даже черезъ стадо.

Въ Зельбургъ и Динабургъ особенно распространено было поклоненіе *Япшему* (Buschgott), по латышски Меда diws, или *писному мужу* (Межа-вирсъ или Вальдманнъ) и что Эйнгорнъ полагаетъ, будто волкъ, именно, имъетъ прозвище *писного бога*, или *писного мужа*.

#### 10. Медвъдь, (Мешка).

На сѣверѣ, гдѣ не водятся львы—эти цари звѣрей медендъ считался представителемъ силы и мужества; оттого онъ и вошелъ въ гербы многихъ сѣверныхъ дворянъ.

О происхожденіи медвѣдя Юцевичь *(стр. 78)* передаетъ слѣдующее литовское повѣрье:

"Однажды богъ, въ видъ старца, шелъ черезъ мостъ. Вдругъ человъкъ, по имени Балтрасъ, вздумалъ испутать бога и заревълъ ужаснымъ голосомъ изъ-за камня, за которымъ сидълъ. Богъ нашелъ эту шутку глупою и неумъстною и за неуважаніе къ себъ превратилъ Балтраса въ медендя, оставивъ ему на заднихъ ногахъ человъческія ступни, въ воспоминаніе того, что онъ былъ человъкомъ".

#### 11. Конь, (Арклисъ).

Въ повърьяхъ всъхъ въковъ и народовъ коно игралъ первенствующую роль изъ всъхъ животныхъ и былъ любимпемъ боговъ.

Кони: *серебряный*, золотой и алмазный везли колесницу солнца.

По скандинавскимъ сагамъ ("Новая Эдда"), Альфадеръ, отецъ всёхъ боговъ, людей и цълаго, созданнаго имъ міра, далъ ночи и дню колесницы для объёзда земли: впереди ёдетъ ночь на конѣ Hrimfax'ъ (замерзшая грива), съ удилъ котораго падаетъ роса на землю, а за нею день на конѣ Skinfax'ъ (сіяющая грива).

У Аполлона быль крылатый конь пегасг.

Литовскій *Перкунз* имѣлъ на небѣ огненнаго коня, по имени *Липсностисг* (молніеносный), который путь свой означаль огненными слѣдами или молніею.

Литовскіе *Мурги* или тени павшихъ героевъ разътежали на *Дунгусп* (на небъ) на крылатыхъ коняхъ.

Кром'в того, были и волшебные кони, у которыхъ "изъ ноздрей вылетало пламя, а изъ ушей валилъ дымъ столбомъ". Эти кони—чародъи служили легендарнымъ богатырямъ и героямъ, которые входили внутрь ихъ въ одно ухо, а выходили въ другое, и гдъ даже "Иваны-дураки" перерождались въ такихъ красавцевъ, что "ни въ сказкахъ разсказать, ни перомъ описать". Такіе кони выручали своихъ таковъ изъ страшныхъ опасностей, причемъ всегда говорили человъческимъ голосомъ: "это не служба, а службишка—служба еще впереди". Даже невзрачный "Конекъ-Горбунокъ" былъ сверхъественнымъ волшебникомъ. Богатырю Витолю принадлежалъ волшебный конь Іодзъ. (См. "Витолерауда" Крашевскаго).

Легенды и преданія о подобныхъ коняхъ, общія всъмъ народамъ древняго и современнаго міра, заимствуются однимъ народомъ отъ другого; а въ христіанскую эпоху даже дьяволы начали принимать форму коней и возить на себъ не только мертвецовъ и другую нечистую силу, но и живыхъ людей, умъвшихъ получнить себъ чорта или продавшихъ ему свою душу. Повърья эти жили и живутъ до нынъ и между литовцами—и такъ схожи съ извъстными всякому повърьями другихъ народовъ, что не заслуживаютъ повторенія.

У литовцевъ конь, послѣ человѣка, считался самымъ благороднымъ животнымъ: понятіе о воинѣ, рыцарѣ, всегда соединялось съ конемъ, точно такъ, какъ понятіе о земледѣльцѣ было неразлучно съ воломъ. Конь, вмѣстѣ съ почившимъ героемъ, сжигался на кострѣ.

Жмудскіе кони, малые, крѣпкіе и выносливые, съ давнихъ поръ пользовались извѣстностью въ западной Европъ. Литвины, какъ и арабы, къ чести ихъ, всегда отличались любовью своею кълошадамъ и кроткимъ съними обращениемъ.

Конь съ единорогомъ до нынѣ входятъ въ гербы многихъ знатныхъ дворянскихъ родовъ въ Европѣ.

#### 12. Повърья о горахъ.

Гора—по-литовски *Калнаст*. Древне - литовскія повітьм о горахь дошли до насъ только въ краткихъ сказаніяхъ двухъ польскихъ писателей: *Нарбутта* и *Юцевича*. Первый на стр. 213 ("Литовская исторія", т. І) пишетъ:

"Извъстно изъ древней исторіи, что первобытные народы приносили жертвы богамъ на вершинахъ горъ, потому что, по ихъ представленіямъ, божество пребывало на высотъ небесной, а принесеніемъ жертвъ на горахъ думали приблизить себя къ божеству. Авраамъ всходилъ на гору для принесенія въ жертву Исаака. Въ священномъ писаніи не разъ упоминается о нагорныхъ жертвоприношеніяхъ.

Древніе имѣли извѣстныя мѣстности, называемыя Нуреtres или Subdiales; онѣ не были ничѣмъ ни ограждаемы, ни покрываемы, устраивались на горахъ безлѣсныхъ и открытыхъ со всѣхъ сторонъ; тамъ совершались по временамъ религіозные обряды и народныя вѣча.

У славянъ горныя вершины были довольно обыкновенны, особенно у съверныхъ, и назывались "Лысыми Горами", по причинъ обнаженія ихъ отъ всякой растительности. Такія горы были извъстны многимъ европейскимъ народамъ, ничего общаго съ литовцами не имъвшимъ, напримъръ: по-французски chaumont отъ chauve, лысый и по-нъмецки Kahlenberg отъ Kahl, означающаго тоже самое. Но и по-персидски Khoh также зна-

чить лысый; а потому и выводять названіе *Касказа* отъ Khohkasp, лысая гора. Это доказываеть Мальте-Бруннь "Vocabulaire de mots génériques"). Но если ближе разобраться въ лингвистикѣ, то на языкѣ индійско-буддійскомъ, или оставшемся еще въ странѣ надъ Араксомъ, Казр значить лысый, а Khoh гора. Отсюда море каспійское значить на мѣстѣ лысое море, въ смыслѣ отсутствія на берегахъ его всякой растительности. Это подтверждается и рукописнымъ словаремъ одного изъ кавказскихъ языковъ, составленнымъ лекаремъ Росляковымъ около 1809 года.

Кіевская лысая гора изв'єстна во всей Россіи. О ней живеть пропасть сказокъ до сихъ поръ. Туда Бабы-Яги, чарод'єйки, в'єдьмы и злые духи слетаются въ ступахъ, на лопатахъ и метлахъ на шабашъ, въ ночь на Ивана-Купалу, для веселья и для в'єча. Лысая гора въ Польшів, близъ Сандоміра, нынів "гора св. Креста", пользовалась не меньшею изв'єстностью.

На Жмуди также есть Лисая гора. Она находится въ Тельшевскомъ узздъ и называется Шатрія. Описываеть ее Юцевичь въ "Wspomnieniach Żmudzi" (стр. 70) слъдующимъ образомъ:

"Шатрія—очень высокая гора, чуть ли не высшая изъ всёмъ жмудскихъ горъ. Объ ней живетъ въ народё очень много суевърныхъ преданій. Здёсь, по народному мнёнію, погребена Аутерита, жена знаменитаго литовскаго гиганта и богатыря Алиса (вошедшаго въ гербъ города Вильны). Сюда въ вечеръ Купали слетались вёдьмы изъ цёлаго края и тамъ пировали".

Далье, Юцевичь приводить слышанный имъ разсказъ, какъ одинъ смълый парень, желая убъдиться, что дълается на Шатріи въ ночь на Купалу, взобрался на гору и нашель тамъ огромное собраніе людей обоего пола; изъ нихъ кавалеры были одъты по-нъмецки, въкуцыхъ фракахъ, бълыхъ галстукахъ и въ плянахъ,

изъ-подъ которыхъ торчали огромные рога. Разумбется, сзади волоклись и длинные хвосты, если не бывали загнуты вверхъ закорючкою. Все это собраніе веселилось, танцовало и разные напитки лились рѣкою. Музыка играла чудесная. Собраніе очень любезно приняло непрошеннаго гостя. Его усадили на алмазномъ тронъ, потчивали отличнымъ виномъ изъ золотого кубка, дали много золота, которымъ онъ набилъ себъ карманы—и все упрашивали, чтобы онъ пиль и веселился; но гость былъ очень остороженъ и не пробовалъ вина. Вдругъ запълъ пътухъ-и все мгновенно исчезло. Смъльчакъ очутился на старомъ ней, въ рукахъ, вмёсто золотой чаши, быль у него, наполненный нечистотами, человъческій черепъ, который скалиль на него свои желтые зубы, а въ карманахъ были щепки.

Но не одинъ темный людъ върилъ этимъ сказкамъ. На той же и послъдующихъ страницахъ Юцевичъ приводитъ нѣсколько добытыхъ имъ изъ тельшевскаго уѣзднаго архива смертныхъ приговоровъ, состоявшихся въ 1736 году (!), по которымъ предано сожжению несколько несчастныхъ женщинъ за колдовство и полетъ на шабашъ вѣдьмъ на гору Шатрію. Возмутительные приговоры эти замъчательны тъмъ, что осуждение несчастныхъ на костеръ мотивировалось — во-первыхъ, свидетельскими показаніями подъ присягою "достойныхъ вёры людей"; во-вторыхъ, топленіемъ въ рѣкѣ мнимыхъ чародѣекъ, которыя при этомъ "не тонули", и, въ третьихъ, "собственнымъ сознаніемъ подъ пытками (na torturach!!) самихъ въдьмъ", что онъ дъйствительно летали на гору Шатрію, въ сообществъ тих и тих (также потомъ сожженныхъ), дружили съ чертями, причиняли порчу и смерть людямъ и животнымъ и т. п.

Наконецъ, Юцевичъ, на стр. 84, пишетъ: "Въ полумилъ отъ Тельшъ находится, очевидно, искусственная гора, называемая въ народъ горою Джуга;

она имфетъ правильную коническую форму и состоитъ изъ однородной наносной земли. Джуга (Джугасъ) считается какимъ то легендарнымъ жмудскимъ героемъ. Онъ насыпалъ эту гору и предназначилъ ее могилою для себя. Тъло его долго стерегла нечистая сила, при помощи которой онъ доказывалъ чудеса: огромною желъзною палицею своею уничтожалъ полчища рыцарей, опрокидываль горы, вырываль съ корнемъ, какъ прутья, многовѣковые дубы и т. п. Онъ выкопалъ и Тельшевское озеро и основалъ г. Тельши, поселившись первымъ на берегу озера. Везъ сомниня, осущка тельшевскихъ болотъ и собраніе водъ ихъ въ одинъ бассейнъ, сдъланныя къмъ нибудь давно, послужило основаніемъ къ легендь о Джугаст. Въ какое же время богатырь этотъ жиль — народъ не знаетъ, и подобно тому, какъ всякое событіе относить ко временамь Кейстута, говорить, что и Джугаст жилъ во времена его. Близъ горы есть нъсколько поселянъ, называющихся Джугами; есть тамъ же и селеніе по имени Джугимяны; но отъ героя или отъ горы получили они свое название неизвъстно. Между тъмъ, и къ этой горъ, такъ же, какъ и къ Шатріи, жители питають донын'в суев'врный страхъ. Говорять, будто бы на ней живеть чорть, который, въ образѣ кургузаго нѣмчика, перепрыгиваетъ съ дерева на дерево и при встрече съ людьми заставляеть ихъ биться съ собою объ закладъ по загадываемымъ имъ случаямъ, и при проигрышъ человъкомъ пари, душитъ его. Юпевичь и Съмъньскій записали даже легенду объ этомъ; но она слишкомъ глупа и не заслуживаетъ повторенія.

Повърье имъетъ сходство съ повърьемъ о египетскомъ Сфинксъ.

Но возвратимся къ Нарбутту. "У литвиновъ было не мало горъ, посвященныхъ служенію богамь, говорить онь; но мы знаемь только

о тъхъ, на которыхъ находились языческие капища и алгари. Такъ, славились горы: въ Полунгъ (Полангенъ) алгаремъ Прауримы и на берегахъ р. Невяжи-храмомъ Перкуна (Ромнове). Виленская "крестовая гора" (отъ поставленныхъ на ней трехъ крестовъ) была названа лысою гором, вероятно, русскими колонистами города, вызванными сюда во время его основанія. Самая высокая часть этой горы значительно осъла. При устройствъ на ней укрыпленія (во времена существованія бывшей виленской цитадели), на горѣ вырыты людскія кости очень большихъ размъровъ. Такимъ образомъ, нътъ ни малъйшихъ следовъ для указанія какого нибудь религіознаго значенія виленской горы. Первые францисканскіе монахи поставили на этой гор'в три креста, въ воспоминаніе распятія на этой горь, въ 1333 (?) году, семерыхъ изъ нихъ и низверженія потомъ съ горы въ р. Виленку. Въдь если бы гора была святою въ значении язычества, то на ней не было бы совершаемо казней, такъ какъ священныхъ горъ никто не смълъ позорить никакимъ смертоубійствомъ".

Поможемъ г. Нарбутту въ его анахронизмѣ: 14 францисканскихъ миноритовъ были замучены виленцами не въ 1333, а 6 марта 1365 года; спустя же 4 года, въ 1369 году, погибли такою же смертію францискане и въ Лидѣ. На "крестовой горѣ" въ Вильнѣ распято не 7, а 3 минорита, остальные 11 человѣкъ частію перебиты на "Антоколѣ" и частію обезглавлены на рынкѣ. Наконецъ, по преданіямъ, Кейстут приказалъ повѣсить на лысой горт измѣнника Войдиллу. Это дѣйствительно служитъ доказательствомъ, что лысая гора не считалась у литовцевъ святою и въ этомъ отношеніи мы съ Нарбуттомъ согласны.

Но горъ. почитаемыхъ литовскими язычниками, было много.

Въ "Сборникъ Матеріаловъ по Этнографіи", изд. при Дашковскомъ этногр. музев, Москва, 1887 г., Трейландъ (Бривземніаксъ), на стр. 28, свидътельствуетъ, что въ одной только латышской части Прибалтійскаго края насчитывается больше 330 горь, на которыхъ находятся древнія городища и называются онв на мість "замковыми горами" (Pilskalni, Schlossberge). "Это тв возвышенныя мъста, -- говорить онъ, -- которыя отчасти рукою человъка укръпленныя, могли служить въ древности убъжищемъ для окрестныхъ жителей, во время непріятельских внашествій. Полагають, что эти городища (по крайней мъръ нъкоторыя изъ нихъ) служили также мъстами для жертвоприношеній и что, въроятно, вблизи этихъ жертвенниковъ или языческихъ святилицъа быть можеть и на нихъ самихъ-имѣли свое мѣстопребываніе жрецы латышско-литовскаго культа Перкуна".

#### IV.

# всемірный потопъ

по тремъ сказаніямъ.

О потопъ, въ періодъ нынъпней геологической формаціи земнаго шара, существуютъ три сказанія: библейское, греческое и литовское. Быть можетъ на дальнемъ востокъ есть сказаній этихъ и больше; но отысканіе ихъ—дъло оріенталистовъ.

Потопъ Библейскій изв'єстень каждому школьнику изъ ветховав'єтной исторіи. Боговдохновенный бытописатель отозвался о немь и кратко, и категорически, не опред'єляя времени его и не давая ни мал'єйшаго повода къ другимъ произвольнымъ толкованіямъ и умствованіямъ. Между тімь, нівкоторые латинскіе писатели первыхъ десяти вісковъ христіанской эры забрели въ невылазную трясину фанатическихъ умствованій и даже установили годъ, місяць и число всемірнаго потопа. Отголоскомъ всіхъ этихъ писателей явился каноникъ жмудскій Стрыйковскій, который въ "Хроникъ" своей, написанной въ 1582 году, говорить о потопіь, между прочимъ, слідующее:

"Ной, имѣвшій отъ роду 600 лѣтъ, вступилъ въ ковчегъ съ женою своею, сыновьями: Симомъ, Хамомъ и Іафетомъ и женами ихъ: Титеею, Пандерою и Ноэлою

(по увѣренію Верозуса); а въ 1656 (?) году отъ сотворенія міра, 17 апрѣля (?!) начался самый потопъ, который продолжался 150 дней, а Ной жилъ въ ковчегѣ 13 мѣсяцевъ. Ковчегъ остановился въ Арменіи на очень высокой горѣ Taurus, а по Верозусу—на горѣ Gordieus; по Епифаніусу же — въ Карденской странѣ, на горѣ Араратъ и Любаръ, гдѣ и до нынѣ еще видны остатки этого ковчега". (?)

Критическій разборъ сказаній Стрыйковскаго и цитируемыхъ имъ писателей не составляеть предмета настоящей статьи.

Потопт Треческій также хорошо изв'єстень знатокамъ греческой минологіи; а кто въ ней нынче не знатокъ? Мы не похвалимся знаніемъ славянской минологіи; но сознаться, что не знаемъ греческой и римской, было бы стыдно.

Всѣ греческія сказанія о всемірномъ потопѣ сводятся къ слѣдующему:

Зевсъ истребилъ потопомъ буйную породу мюдных модей, соотвътствовавшую скандинавскимъ Гримтурсамъ. Онъ послалъ сильный проливной дождь, такъ что вся Эллада покрылась водою и всъ обитатели ея потонули. Спаслись только Девкалюнг и Пирра. По совъту Прометея, Девкалюнъ построилъ ящикъ и вошелъ туда вмъстъ съ женою. Девять дней и девять ночей носились они по волнамъ, а когда гроза стихла, пристали къ горъ и принесли жертву Зевсу—тучегонителю. Созданіе людского рода изъ камней засвидътельствовано греческимъ миеомъ о томъ же Девкалюнъ, которому, послъ потопа, Гермесъ далъ повельніе бросить чрезъ себя кости матери-земли, т. е. камни; всъ камни, брошенные имъ, обратились въ юношей, а тъ, которые бросила жена его Пирра—въ дъвъ.

Потопъ Литовскій извъстень только изъ весьма сомнительнаго источника, приводимаго Нарбуттомъ въ его "Исторіи литовскаго народа" (Т. І. стр. 1—5).

Нарбутть, основываясь на Стрыйковскомъ и Ласицкомъ, при разработкъ литовской минологіи, выводитъ какую то особую градацію-или върнъе-генеалогію литовскихъ боговъ, хотя и признаетъ, что народъ, не смотря на тысячи своихъ божествъ, чувствовалъ существованіе какого то высшаго Бога, котораго назвать не умёль, но вероваль, что онь придеть судить родъ людской въ последній день. Этому неведомому Богу присвоиль название Auxtheias, Wissagistis (omnipotens, всемогущій). Въ то же время Нарбутть создаеть двухь высшихь боговь: Оккапирмаса, бога всёхъ боговъ и Прамжимаса, или Прамжу, сына его, отда всъхъ боговъ. Прамжимасъ значить собственно предопредтленге. судьба. рокг. По Нарбутту, онъ признаетъ Оккапирмаса своимъ отдомъ, начертавшимъ на камняхъ будущія судьбы целаго міра и сознается, что онъ, сынъ, не въ силахъ измѣнить ни одной черты въ этихъ предначертаніяхъ.

Оккапирмасъ никогда не былъ богомъ, а значилъ только извъстное протяжение времени—и никакъ не болье одного года; празднество въ честь этого мнимаго бога Оккаатимимасъ было только праздникомъ провожанія стараго года и встръчи новаго. Прамжимасъ также не былъ никогда богомъ, но, какъ самое названіе его доказываетъ, былъ только судъбою всего живущаго, предназначенною каждому свыше.

Литовскій народъ, какъ и всё другіе народы земного шара, вёрилъ и до нынё вёритъ въ судьбу, рокт; вёрилъ, что всякому человёку назначена своя судьба, но ни одинъ народъ не считалъ судьбу своею святостью, ше молился ей и не приносилъ жертвъ. Славяне также не обоготворяли судъбу, рокъ, долю. Объ этомъ свидътельствуетъ Прокопій словами: "Fatum minime norunt, nedum illi in mortalis aliquam viu adtribuunt".

М. О. Коядовичь въ "Чтеніяхъ по исторіи Западной Россіи" (Спб. 1884) приводить даже білорусскую пісню о Домь:

"Еще бо я не радзилася, Лиха доля прицапилася; Еще бо я въ пелюшкахъ лежала, Лиха доля за ноженьки дзержала; Еще бо я коло лавки хадзила, Лиха доля за рученьки вадзила".

Между тъмъ, Нарбуттъ приписываетъ Прамжимасу небывалыя качества и силу. Гдъ то онъ, Нарбуттъ, добылъ "Народную Легенду", описывающую всемірный потопъ и носящую названіе Секиме или Кляузиме, хотя по литовски потопъ называется Паскиндимасъ, а простое наводненіе тванай. Впрочемъ, извъстно, что Нарбуттъ не зналъ литовскаго языка, хотя и былъ природнымъ литвиномъ.

Откуда эту легенду взяль Нарбутть, онь не говорить; но едва ли онь не записаль ее прямо съ какого нибудь разсказа и, по обыкновенію, не очистивь ее критикою, цёликомь пом'єстиль въ І том'є на стр. 1,—такь какъ въ ней не сохранилось ни одного имени изъ числа уціль внихъ отъ потопа людей. Отв'єтственность за достов фристь этой легенды всецёло остается на Нарбутть. Воть что разсказываеть о всемірномъ потоп'є Секиме или Кляузиме.

Въ горнемъ небесномъ пространствъ есть дворецъ, называемый *Прамжу*, въ которомъ обитаеть *Прамжи*-масъ, что значить всеводущій (?). А какъ власть его

распространяется надъ небомъ, воздухомъ, водою и землею и надъ всеми существами, живущими какъ внутри, такъ и на поверхности ихъ, то власти его нътъ предъловъ. Въ первые года мірозданія, юная земля, какъ и все въ молодости, была прекрасна, чиста и дышала блаженствомъ, но скоро люди испортились: изъ-за благъ земныхъ возникли между ними войны, ненависть, измѣна; братъ убивалъ брата, отецъ проклиналъ сына, матьдочерей, дёти-родителей. Однажды Прамжимась, присматриваясь къ земл'в изъ оконъ своего дворда, быль возмущенъ тъмъ, что на ней увидълъ-и не узналъ своей земли: междуусобныя войны, навзды, разбои, тайныя убійства, беззаконія, разврать и всё преступленія охватили, словно зараза, всѣ страны и залили лице земли кровью. "Такъ это-то мой свётъ? Такъ это-то мои дёти"? воскликнуль онъ. "Гдъ же тотъ миръ и согласіе, которые я насадиль? Гдъ тъ добродътели, которыя населиль я въ душѣ каждаго"?—сказаль и собственною рукою отверзъ врата бездны, изъ которой вызваль двухъ духовъ-гигантовъ: Ванду (воду) и Въйю (вътеръ), враждебныхъ другъ другу, невообразимо свирвныхъ-и бросиль ихъ на землю. Земля плоска и кругла, словно тарелка, и злобные духи, схвативъ ее за края, начали, въ теченіе 20 дней и 19 ночей, трясти и колыхать съ такою силою, кто вск моря поднялись, выступили изъ береговъ, залили всю землю съ горами и погубили вся-Прамжимасъ вторично выглянулъ въ окно, кую тварь. въ то самое время, когда влъ небесные орвхи, которые растуть въ саду его дворца. Видя ужасное опустошение земли и замѣтя, что на самой вершинѣ одной горы пріютилось несколько паръ людей, зверей и птицъ, которыхъ вода готовилась поглотить, онъ сжалился надъ ними и бросилъ имъ шелуху орвха, въ которую немедленно вскочили всв оставшіяся въ живыхъ существаи понеслись по водному пространству. Злобные гиганты

безсильны были потопить скорлупу божескаго оръха— и потому ничего не могли сдълать несчастнымъ, спасшимся въ ней. Наконецъ, богъ (?) въ третій разъ взглянуль на землю. При видь плавающихъ на ней отвратительныхъ морскихъ чудовищъ, среди мрака и бъщенства волнъ, ему стало жаль погубленныхъ людей и всёхъ животныхъ. Онъ схватилъ духовъ-гигантовъ, бросилъ ихъ въ бездну и захлопнулъ за ними ворота. успокоились, улеглись, ръки вошли въ свои берега, земля просохла, зазеленъла снова и небо засіяло прежнимъ блескомъ. Люди, звъри и птицы разсъялись по лицу земному, а одна пара людей осталась въ томъ крав, изъ котораго беретъ свое начало народъ литовскій и не могли им'ть потомства, потому что оба были стары. Когда старики горевали надъ своимъ одиночествомъ, Прамжимасъ послалъ имъ въ утъщение Линксмину (радугу), которая посовътовала имъ, чтобы они перепрыгивали чрезъ камни, которые отъ того будутъ превращаться въ людей. Старики начали прыгать; но, по причинъ дряхлости своей, успъли перескочить только по 9 разъ: гдъ перескакивалъ старикъ, родилось 9 юношей, гдъ перепрыгивала старушка, появилось 9 дъвушекъ. Эти новые потомки и были родоначальниками девяти кольнъ литовскихъ; прочія же людскія пары, разсъявшіяся по земль, произвели на свъть тъ народы, которые ненавидять литовцевь и преследують ихъ войнами.

Легенду эту воспроизвелъ Крашевскій въ поэмѣ своей "Витолерауда", вложивъ ее въ уста Креве-Кревейто (верховнаго жреда) Ромоиса.

Легенда, однако же, не выдерживаетъ никакой критики. Прамжимасъ не могъ произвести всемірный потопъ, потому что не была богома, а почитался только судъбою, рокома земли—и слъдовательно, зависълъ отъ кого-то свыше. Если допустимъ, что онъ былъ самъ законода-

телемъ судебо и погибель земли начерталъ на камив въ первый день ся творенія, то онъ зналъ давно о предстоявшемъ потопъ и ему не было надобности поражаться видомъ людского разврата. Если Прамжимасъ зависълъ отъ кого-либо свыше, -- напримъръ, хоть отъ мнимаго отца своего Оккапирмаса, то безъ воли послъдняго онъ не посмъль бы истреблять дъло рукъ его, а ежели дъйствоваль по предвичному начертанию отца своего, то не имѣлъ права отмѣнить приговора и слѣдовательно также не было ему надобности возмущаться беззаконіями человъческими. Прамжимасъ отнюдь не былъ создателемъ міра; между тымь, легенда разсказываеть о творцы вселенной. Скоръе можно допустить, что невъжественный авторъ Секиме или Кляузиме облекъ въ грубую форму бога, пожирающаго оръхи, то верховное существо, которое онъ чувствовалъ сердцемъ, но назвать не умълъ; пытался олицетворить того создателя жизни, который придеть на судь въ последній день и для котораго народъ литовскій не имълъ другого названія, кромъ Аихtheias, Wissagistis, — и имя Прамжимаса присвоилъ ему произвольно.

Все преданіе о литовском потопи, очевидно, есть извращеніе потоповъ Ноя и Девкаліона, такъ какъ оръховая шелуха напоминаетъ собою ноевъ ковчегъ и девкаліоновъ ящикъ, а прыганіе черезъ камни отождествлено съ бросаніемъ ихъ чрезъ себя Девкаліономъ и Пиррою, отъ которыхъ греки выводять свое происхожденіе.

Изъ всего этого слъдуетъ, что литовскій всемірный потопъ былъ произведенъ не *Прамжимасомъ* и не *Оккапирмасомъ*, а неизвъстною таинственною силою, со-здавшею жизпъ.

#### V.

## АУШЛЯВИСЪ (ЖАЛТИСЪ)

Литовскій Богъ врачеванія.

Морочившій въ теченіе трехъ стольтій ученый міръ польскій писатель Стрыйковскій насказаль цьлыя горы вздору о литовскихъ богахъ и почти всьхъ ихъ поголовно кормилъ курами и каплунами, приносимыми будто бы имъ въ жертву. Объ Аушлявись, на стр. 144 "Хроники" своей, говоритъ: "Аушлявись—богъ безсильныхъ, больныхъ и здоровыхъ" (?) и этимъ отдълывается отъ него разъ навсегда, даже не предназначая ему въ жертву ни одной курицы.

Нарбутть (Литов. исторія, т. І.) къ опредѣленію этому, вмѣсто "здоровыхъ", прибавляетъ: "выздоравливающихъ". Вѣроятно, тоже самое хотѣлъ сказать и Стрыйковскій, такъ какъ здоровому врачъ не нуженъ.

Аушлявист быль миеическій врачь. Литовцы чтили его въ формѣ большого ужа. У нихъ также существовали такіе кудесники или заклинатели змѣй, которые носили ихъ за пазухою, показывали народу и увѣряли, что если опасное могли сдѣлать безвреднымъ, то съумѣютъ излечить и всякую немочь. Они называли себя учениками и почитателями бога здравія.

У пруссовъ—говорить Нарбутть на стр. 90—онъ особенно быль чтимъ: нѣкоторыя мѣстности (?) были исключительно посвящены ему одному и тамъ имѣли пребываніе разные кудесники и знахари, которые отъ укушенія разныхъ ядовитыхъ гадовъ лечили заговариваніемъ и другими, имъ извѣстными способами.

Латыши называли его Аускуць. У нихъ онъ былъ не только покровителемъ врачеванія людей и домашнихъ животныхъ, но и охранителемъ отъ всякаго рода заразы. Жертвы приносились ему сборныя, называемыя собарри и состоявшія въ томъ, что во время наступленія эпизоотіи покупали въ складчину откормленнаго кабана и закалывали его для умилостивленія божества. В врованіе въ этого божка сохранилось въ простомъ народъ отчасти донынъ, такъ какъ и теперь, при видъ на спинахъ овецъ лысинъ, происходящихъ какъ бы отъ выстриженной или вырванной шерсти, въ цѣлой деревнѣ поднимаются вопль и стенанія отъ убъжденія, что это есть предзнаменованіе моровой заразы и падежа. Штендеръ увъряеть, что онъ еще самь быль свидътелемъ той паники, какую производиль въ народъ Аушлявисъ или Аускуцг.

Латыши домашнихъ ужей называли также *Чускас*г. Въ Россіи и особенно въ Малороссіи также окружали ужей какимъ-то благоговъйнымъ почитаніемъ.

Михелонъ говоритъ, что Аушлявису въ Литвъ, точно такъ же, какъ Эскулану въ Римъ, были воздаваемы почести въ формъ ужа. ("Maxime cultu Aaesculapii, qui sub eadem, qua Romam ab Epidauro commigraverat, serpentis specie colitur".—In fragmentis apud Elzevir). Это мы видимъ и до нынъ: на всъхъ медицинскихъ эмблемахъ фигурируетъ ужъ.

Въ древности поклоненіе ужамъ было всеобщее; имъ поклонялись Индійцы, Халдеи, Египтяне, Персы, Финикіяне, Греки, Римляне, Готты и многіе другіе наро-

ды.—Юлій Цезарь нашель почитаніе ужей у народовъ пиринейскихъ. (Scaliger exercit. 183. sect. 3).

Нарбутть говорить (т. I, стр. 148), что, по Геродоту, Египтяне боготворили извъстнаго рода ужей и будто по Плутарху, у Авинянъ прирученные ужи принимали участіе въ обрядахъ, называемыхъ "Dionisiades", которые совершались въ честь Вакха (??). Римляне имъли божка "Famulus", который являлся народу въвидъ ужа (?).

"Вообще—доказываеть Нарбутть (стр. 149),—существовало убъжденіе, что ужь есть очень мудрое созданіе и по причинъ ежегоднаго возобновленія кожи своей почитался безсмертнымъ".

Дъйствительно, почитаніе ужа было въ Литвъ чрезвычайно распространено. Общее названіе его было Жалтист, ужъ. Его считали божкомъ, ему приписывали сверхъестественную силу, считали добрымъ геніемъ домашнимъ, держали въ домахъ, воспитывали, кормили, спали съ нимъ вмъстъ и нисколько его не боялись. Ужи съ своей стороны нисколько не страшились человъка, освоились съ нимъ, лезли ему на шею, пили молоко изъ одной миски съ хозяйскими дътьми—и это сохранялось даже въ первой половинъ нынъшняго стольтія, если не сохраняется еще и до сихъ поръ. Въ святилищахъ боговъ ужи имъли особо устроенныя для себя логовища, въ которыхъ были чествуемы вмъстъ съ прочими священными гадами или Фетишами, по-литовски Гисойте.

Съ введеніемъ христіанства, католическое духовенство начало сжигать торжественно на площадяхъ этихъ незлобивыхъ животныхъ тысячами.

Э. А. Вольтеръ въ примъчаніяхъ къ "Литовскому Катехизису" Даукши (стр. 128) свидътельствуетъ: "Залчіліс, залтіс, ужъ. По Куршату, въ Вилькомірскомъ уъздъ говорятъ: жалктіс и залтыс—ужъ; жалктыча—дочь змъи; жалктіене—змъиха, жена змъв. Слово желектіс, въ смы-

елѣ большого змѣя дракона, встрѣчается въ одной легендѣ о лынгмянскомъ городищѣ (по-литовски пилекалнисъ). Такихъ змѣевъ было три: Лингманас (лынгмянскій), Вілнанас (виленскій) и Рігманас (рижскій). Но это были наши легендарные Зміи-Гориничи.

Ласицкій, въ главѣ о древнихъ литовскихъ обрядахъ, говоритъ:

"Въ извъстный праздникъ, приглашенный жредъ молитвами и заклинаніями, вызываль домашнихъ ужей, которые вылезали изъ норъ и по бълому полотенцу вспалзывали на столъ, гдъ пробовали разныя, приготовленныя для нихъ куппанья, послъ чего эти самыя блюда поъдались самими хозяевами и ихъ гостями. Но если ужи не хотъли выходить изъ норъ или ъсть предложенную имъ пищу, то это было предзнаменованіемъ большого несчастія для дома".

Во время "Праздника Весны", по-литовски "Сутинкай", божку Аушлявису, въ числъ прочихъ важнъйшихъ боговъ, также приносили жертвы и просили его объ отвращении всякихъ болъзней.

Крашевскій, въ поэмъ своей "Миндовсъ", разукрасилъ *Аушълвиси* поэтическимъ своимъ вымысломъ и придалъ ему слъдующую форму:

"Статуя его изображалась въ видъ громаднаго ужа, съ открытою пастью, изъ которой торчалъ серебряный языкъ, какъ бы угрожавшій людямъ. Въ значительныхъ храмахъ на немъ было навъшано всегда столько жертвъ, что подъ ними исчезали не только его кожа, но и всъ формы ужа, а у подножія его еще лежали горы даровъ, которыми покупали у него здоровье и простолюдины, и князья".

Здъсъ необходимо замътить, что въ формъ ужа, свитаго спиралью, изображался также и богъ морей *Атрим-посъ*; но послъдній представлялся съ головою молодого человъка, украшенною короною.

Ни объ одномъ изъ фетишей нѣтъ столько легендъ, сколько о Жалтисть. ужѣ. Хотя Крашевскій и не можетъ считаться авторитетомъ вообще, не менѣе того, однако же, одна легенда о Жалтисть, поэтически разсказанная имъ въ "Витолераудѣ", заслуживаетъ повторенія, какъ дѣйствительно живущая въ народѣ и могущая служить нагляднымъ образчикомъ народнаго творчества. Вотъ она въ краткомъ содержаніи.

I.

#### Жалтиса супруга.

Пошла Эгле (эгле—по-литовски—ель) съ сестрами, вечернею порою, въ озеро купаться. Долго дѣвушки плескались въ волнахъ, пока не взощелъ мѣсяцъ. Дѣвушки возвратились къ своей одеждѣ; но Эгле съ ужасомъ увидала, что въ рукавѣ ея рубашки лежитъ свернувшись ужъ. Она начала кричатъ. Сестры предложили прогнатъ ужа палкою или камнями, но стояли очарованныя и не могли двинуться съ мѣста. Вдругъ ужъ заговорилъ человѣческимъ голосомъ:

— Я выйду, Эгле, самъ, ежели ты объщаеть быть моею женою.

Дъвупка застыдилась, заплакала, просила ужа сойти съ рубашки, потому что ей холодно; но Жилтисъ твердиль одно: "объщай, объщай!" Эгле отговаривалась, что назначение ей мужа зависить отъ родителей; но Жалтисъ упорно твердилъ одно и тоже: "объщай, объщай!" Тогда старшая сестра шепнула Эгли на ухо:

— Да объщай же ему; что тебъ значитъ? Лишь бы освободилъ рубаху.

Эгле улыбнулась и сказала:

- Ну, объщаю!

Ужъ тотчасъ выползъ изъ сорочки. Но едва дѣвушки вернулись въ село и вошли въ свою *нуму* (избу), какъ на селъ раздались голоса:

— Сваты ѣдутъ! Сваты ѣдутъ!

Эгле спряталась въ амбаръ. Три Жалтиса, съ поднятыми вверхъ головами, вътхали въ большомъ корытъ на дворъ Эгли. Старшій изъ нихъ обратился къ родителямъ ея съ такою ръчью:

— Жалтист, нашъ богъ, прислалъ насъ за своею невъстою. Она объщала быть его женою. Сотня насъ ужей слышала обътъ. Влагословите, родители, дочь и отдайте ее намъ!

Родители въ слезахъ и горѣ. Слыханное ли дѣло: выдать дочь замужъ за ужа?—Вотъ бросились они за совѣтомъ къ колдуньѣ, *Рагументы* \*): помоги намъ въ горѣ!"

Жрица не знала, что дѣлать. Долго чесала у себя за ухомъ. "Зачѣмъ Эгле обѣщала?" Но это не совѣтъ. Родители и сами знали, что обѣщать не слѣдовало. И вотъ, надумавшись, сказала:

— Жалтисовъ обмануть не трудно: дайте имъ, вмѣсто дѣвушки, бѣлую гусыню.

Родители такъ и сдѣлали: посадили въ корыто бѣлую гусыню. Жалтисы поблагодарили, весело засычали, проѣхали село и поѣхали бы дальше, но вдругъ *Гегуже* (кукушка) закуковала имъ съ дерева:

— Куку, куку! Простофили сваты! Васъ обманули: вамъ дали бълую гусыню, а невъста Жалтиса прячется въ амбаръ. Ступайте назадъ и требуйте дъвицу!

Вернулись сваты въ село, выбросили гусыню и съ гнѣвомъ стали требовать дѣвицу. Снова родители закручинились и опять обратились къ той же кудесницѣ.

<sup>\*)</sup> Жрица бога Разуписа, литовскаго Бахуса.

— Дайте имъ бълую овцу, посовътовала жрица—и родители отдали бълую овечку.

Жалтисы поблагодарили, весело засычали, проѣхали село и поѣхали бы дальше, но Гегуже опять раскрыла обмань.

Вернулись сваты въ село и еще съ большимъ гнѣвомъ начали требовать дѣвицу. Родители, по совѣту Рагутени, дали имъ бѣлую телку, но злобная Гегуже опять осмѣяла сватовъ и воротила ихъ въ село; потомъ дали старшую дочь; но и съ нею повторилась та же исторія, что съ гусынею, овечкою и телкою.

Съ крикомъ, бранью и угрозами возвратились сваты въ село и подняли тамъ такую бурю, что сама Рагутеня испугалась и посовътовала отдать Эгле.

Сваты увхали изъ села, но уже назадъ не вернулись, потому что Гегуже закуковала имъ съ дерева:

— Куку, куку! Хорошіе сваты! Торопитесь къ озеру: Жалтись давно на берегу ждеть свою невѣсту. Куку, куку!

Эгле плачеть, Эгле стонеть, передъ смертью трепеща... Вотъ и озеро... на берегу ждеть ее—но не отвратительный ужъ, а юный красавецъ, водяной богъ, въ образъ человъка.

#### II.

#### Жалтиса шурья.

Пять лѣтъ была счастлива Эгле въ глубинахъ водныхъ съ юнымъ супругомъ. Другіе пять лѣтъ была уже менѣе счастлива, потому что, —хотя и имѣла троихъ дѣтей—двухъ сыновей и одну дочь—но тосковала по роднымъ своимъ, по землѣ, по зеленымъ лугамъ ея. Какъ ни ласкалъ ее мужъ, какъ ни заботился о ея счастіи, тосковала Эгле и все домой просилась. — Хорошо, повдешь на будущей недвлв! отввчаль ей супругъ—и такъ прошло нъсколько льтъ.

Эгле плачеть, Эгле стонеть, Эгле просится домой.

— Я съ тобой разстанусь не надолго: чрезъ три дня вернусь; пусти меня къ отпу, къ матери!

Мужъ не могъ выдержать долѣе, разрѣшиль ей поѣхать, но тогда, когда износить желѣзныя башмачки, которые изъ стали сковалъ на ея ножки самъ богъ кузнецовъ. Взяла Эгле башмачки, бросила ихъ въ огонь, пережгла на уголь, день походила и башмачки развалились.

- Вотъ я башмачки износила; теперь нѣтъ препятствій къ отъѣзду; начну печь пироги на дорогу! сказала супруга.
- Пеки пироги на дорогу, отвътилъ супругъ; но я утопилъ всю посуду и ты должна наносить на нихъ воду ръшетомъ. Ежели воды не наносишь и пироговъ не напеченъ, объ отъъздъ и не думай.

Долго думала Эгле. Наконецъ, хлѣбнымъ тѣстомъ залѣнила рѣшето, наносила воды, нанекла пироговъ и сказала мужу, что готова въ дорогу.

Горько плакалъ Жалтисъ, прощаясь съ женою и дътьми.

— Когда ты возвратишься и станешь на берегу, Эгле, то вызывай меня трикраты слѣдующими словами: "Мой мужъ! жена тебя ожидаетъ: проявись на водѣ, если живъ, молочною пѣною, а если умеръ, то пятномъ кровавымъ".

Сколько радостей было по прівздв Эгли домой! Всв считали ее давно уже утопшею и не могли съ нею наговориться.

**Прошло три дня.** Родные уговорили ее остаться еще на три дня.

Братья Эгли, турья Жалтисовы, повхали на ночь въ дремучій лъсъ и пригласили съ собою старшаго ея сына, чтобы онъ разбудиль ихъ на утреннюю работу. Гдъ то далеко въ глуппе развели огонь, легли вокругъ него и, лаская мальчика, начали разспращивать его, какими словами, по возвращени на озеро, мать будетъ вызывать отца? Мальчикъ отвъчалъ: "Не знаю! это знаетъ матъ". Дяди начали грозить племяннику и приготовили десять пучковъ розогъ; но мальчикъ твердилъ одно: "Не знаю! это знаетъ матъ". Тогда дяди начали его съчь, избили на немъ всъ розги, но мальчикъ упорно говорилъ одно и тоже.

Вернулись домой изъ л'всу.

- Отчего у тебя глаза красные? спросила мать.
- Дрова были очень смолисты и вѣтеръ гналъ дымъ отъ костра прямо въ глаза! отвѣчалъ сынъ.

На другую ночь дяди взяли съ собою въ лѣсъ младшаго племянника и также напрасно изсѣкли его, не добившись ничего. На третью ночь взяли съ собою племянницу—и та подъ розгами выдала тайну. Тогда братья, вооружившись косами, посиѣшили на озеро и начали вызывать Жалтиса:

— Мой мужъ! жена тебя ожидаетъ: проявись на водъ, если живъ, молочною пъною, а если умеръ, то пятномъ кровавымъ.

Послѣ третьяго заклинанія поверхность озера покрылась бѣлою пѣною и изъ нея вынырнулъ молодой красавецъ, который радостно вышелъ на берегъ встрѣчать любимую жену и дѣтей. Но шурья его выскочили изъ лѣсу, отрѣзали ему путь къ отступленію и косами искрошили въ куски.

Пришелъ послъдній день пребыванія Эгли въ гостяхъ. Вернулась она къ своему озеру и произнесла заклинаніе. Послъ третьяго раза поверхность озера покрылась кровью и изъ глубины послышался голось:

— Это кровь моя, Эгле! твои братья косами искрошили меня въ куски. Зарыдала бъдная Эгле.

— Что же я съ собою и съ дѣтьми сдѣлаю? Не вернуться же мнѣ въ домъ родительскій, чтобъ братья-убійцы смѣялись надъ моими вдовьими слезами!... О, лучше было бы всѣмъ намъ почить въ одной могилѣ или вмѣстѣ съ моими дѣтьми врости на вѣки въ эту землю!!...

Эгле плачеть, Эгле стонеть, Эгле смерти просить... Но воть боги сжалились надь нею и превратили ее въ плакучую ель, съопущенными внизъ вътвями, словно съ повисшими руками и распущенными волосами; старшаго сына въ могучій дубъ, младшаго въ кудрявый ясенъ, а дочь въ въчно дрожащую листвою своею осину.

Легенда эта въ высшей степени поэтична и сохранила свой чисто-языческій характеръ, тогда какъ ко многимъ другимъ примъшиваются изобрътенія христіанскаго культа, какъ видимъ, напримъръ, въ сборникъ Фекенштедта: "Die Legenden, Sagen und Mythen der Zamaiten".

# **VI.** ПРАУРИМА,

#### литовская богиня огня.

Праурима—богиня священнаго огня, одно изъ самыхъ поэтическихъ, хотя и мало изследованныхъ божествъ древняго литовскаго міра. Только Перкуну и ейбылъ посвящаемъ неугасаемый огонь, который пылалъ на алтаряхъ въ капищахъ этихъ божествъ.

Блюстителями перкуновскаго огня были *Вейдалоты*, а прауримовскаго—*Вейдалотки*, по-литовски *Вейдалотени*, которыя за допущение огню угаснуть также были наказываемы смертію.

Эта богиня въ отношеніи женщинъ была тѣмъ, чѣмъ былъ *Перкунг* въ отношеніи мужчинъ.

У литовцевъ каждый миеъ былъ мужескаго рода, когда онъ относился къ мужчинамъ и женскаго, когда касался женщинъ; словомъ, каждое божество считалось въ двухъ полахъ. Отъ того Перкунг и Праурима составляли какъ бы двъ половины одного и того же божества. Латыши боговъ называли Тевсъ, отецъ, а богинь Мате, мать—и въровали, что каждый предметъ имълъ отдъльное свое божество. (Штендерг. "Lett. Gram. Art. Myth.").

Рукопись Петра-епископа говорить о Прауримѣ слѣдующее: "У литвиновъ сохраняется почитаніе, связанное съ разными суевѣріями, ложной богини, называемой Прауримою, на подобіе Вести или Сувеllі древняго Рима. Простой народъ считаеть ее непорочною дѣвою, богинею огня и подательницею жизни. Ей посвящають огонь, почитаемый вѣчнымъ, потому что никогда не угасаеть на алтарѣ ся. Служать ей также дѣвицы въ качествѣ жрицъ, которыхъ называють Праурмъ (?). На ихъ строгой обязанности лежить блюсти огонь, чтобы онъ никогда не погасалъ. Эти дѣвицы должны до самой смерти сохранять свою чистоту и за нарушеніе обѣта ся, по законамъ страны, были наказываемы страшнюю смертію".

Ниже увидимъ, что Вейдалотки не на всю жизнь оставались въ безбрачіи и что смертію наказывались онъ за нарушеніе дѣвическаго цѣломудрія только въ духовномъ своемъ санѣ.

Стрыйковскій, описывая женитьбу *Кейстута* на *Еируты*, доказываеть, что послёдняя была *Вейдалоткою*, или, по его словать, *Весталкою* и что богинт *Прауримы* было посвящено нъсколько капищъ, именно: а) въ *Полунгы* (Полангент), лежащей на морскомъ берегу, на святой горт; б) надъ ръкою Невяжею; в) въ Вильнт (?) и въ другихъ мъстахъ.

Изъ всёхъ, однако же, историческихъ изслёдованій оказывается, что капище Прауримы существовало въ одной Полунгѣ, сначала до конца язычества въ Литвѣ, потому что состояло подъ особою охраною Меченосцевъ и не было преслѣдуемо ими, какъ перкуновское Ромнове, которое должно было вслѣдствіе того перекочевывать много разъ съ мѣста на мѣсто, покуда окончательно не утвердилось въ Вильнѣ, въ долиню Святорога. Причины охраны этого капища рыцарями были слѣдующія:

Великій магистръ ордена меченосцевъ Винрихъ фонъ-Книппроде (умершій въ 1382 году), послѣ овладѣнія Жмудью, очень усердно занялся истребленіемъ всѣхъ языческихъ храмовъ, жертвенниковъ и истукановъ; но при святилицѣ Прауримы въ Полангенѣ учредилъ особый караулъ и запретилъ рыцарямъ, подъ страхомъ смертной казни, входить въ самое капище и чинить мальйшія притьсненія блюстительницамъ неугасаемаго огня, за который отвѣчали онѣ жизнью. Огонь этотъ былъ готовымъ, ничего не стоющимъ ордену и самымъ надежнымъ маякомъ для ганзейской торговли и мореплавателей того времени, что умѣлъ вполнѣ оцѣнить великій магистръ. (Мистиныя народн. преданія).

О богинъ *Прауримы* какъ въ исторіи, такъ и въ народной памяти сохранилось очень мало слъдовъ. Въ легендахъ и пъсняхъ очень много говорится о *Вейдало- меняхъ* и очень мало о самой богинъ. Въ латышскомъ
языкъ осталось одно слово, близко подходящее къ названію богини: praulis, но и то значитъ пожаръ.

Вейдалотеню за нарушеніе объта дъвственности наказывали жестокою смертью: или распинали нагую на столбъ и потомъ живьемъ сжигали, или живую зарывали въ землю, или, наконецъ, зашивали въ кожанный, нагруженный камнями, мъшокъ, вмъстъ съ кошкою, собакою и ядовитою змъею и топили въ моръ или въ ръкъ.

у жителей м. Румшишки надъ Нъманомъ сохранилось много легендъ о казни Вейдалотокъ за нарушеніе объта пъломудрія. Воть одна изъ нихъ:

Разъ "святая дѣвица" обвинена была въ любовной связи съ какимъ-то неизвѣстнымъ рыцаремъ, и въ то время, когда ее везли на двухъ черныхъ коровахъ, чтобъ зашить въ мѣшокъ, вмѣстѣ съ кошкою, собакою и змѣею и потомъ утопить въ Нѣманѣ, вдругъ выскочилъ изъ пучины водъ рыцарь, на конѣ, въ черныхъ латахъ и шлемѣ, освободилъ Вейдалотеню и велѣлъ обвѣнчать себя

съ нею на самомъ берегу рѣки; послѣ чего обнялъ ее, вскочилъ съ нею на коня, бросился въ воду и исчезъ въ глубинѣ. Вслѣдъ за нимъ бросили въ ту же пучину и мѣшокъ съ животными. Съ тѣхъ поръ вода въ томъ мѣстѣ начала кружиться и кипѣть и какъ бы донынѣ празднуетъ свадьбу несчастной пары. Покойница нерѣдко при свѣтѣ мѣсяца выходитъ, съ ребенкомъ на рукахъ, на берегъ и поетъ жалобныя пѣсни. Иногда рыбаки видятъ ее въ сопровожденіи чернаго рыцаря—и тогда слышатся: ворчаніе собаки, мяуканье кошки и шипѣніе змѣи. (Нарбуттъ, ч. І, стр. 267).

По преданіямъ, Вейдалотки пользовались большимъ уваженіемъ въ народѣ; въ званіе это избирались дѣвушки какъ по красотъ своей, такъ и по знатности рода и жили всегда при капищъ богини. Жертвоприношенія и вообще все то, что въ религіозномъ отношеніи прямо касалось женщинь, а также поученія, прорицанія и молитвы, относящіяся до женскаго пола, лежали на обязанности Вейдалотокъ. Болъе подробныхъ свъдъній о нихъ нътъ. Можно, однако же, заключить, что онъ исполняли свои обязанности только въ молодости, до извъстныхъ льтъ, а потомъ могли выходить и замужъ. Извъстно, что старыхъ Вейдалотокъ не было. Тъ же, которыя посвящали своей богинь дывство на всю жизнь, съ наступленіемъ старости удалялись въ разныя пустынныя мъста и дълались знахарками и гадальщицами-Лаумами, Рагутенями и т. п. (Преданія и народныя пъсни).

Относительно одежды Вейдалотокъ также ничего неизвъстно; но какъ онъ были копіями римскихъ Весталокъ, то, въроятно, усвоили себъ и ихъ одежду, т. е. тюнику и зеленый вънокъ (Нарб., ч. I, стр. 266).

Ежели на алтарѣ богини огонь случайно погасалъ, что, по религіозному убѣжденію, считалось предзнаменованіемъ большого бѣдствія, то огонь быль добываемъ изъ кремня, находившагося въ рукахъ *Перкуна*, —для чего жрецы подползали къ истукану его на колъняхъ, и разведя добытый огонь, сжигали на немъ прежде всего ту, по винъ которой огонь угасъ. Словомъ, поступали такъ и съ Вейдалотками, какъ и съ виновными въ томъ же Вейдалотами. (Lucas David. *m. I, стр. 29.* Arnkiels, Cimbrische Altentumer, *стр. 109*).

Знаменитая красавица Бирута, дочь жмудскаго баіораса (боярина) Видымунта— какъ свидѣтельствуетъ
"Лѣтописецъ великихъ князей литовскихъ", изданный
Даниловичемъ въ Вильнѣ, въ 1827 году, была также
Вейдалоткою Прауримы въ Полунгѣ. Въ нее влюбился
литовскій герой, знаменитый князь Кейстутъ, похитилъ
ее, увезъ въ свой замокъ Троки и женился на ней въ
1348 году, когда она имѣла отъ роду 17 лѣтъ. Давъ
обѣтъ чистоты, она долго не соглашалась на бракъ и
нѣсколько разъ покушалась даже на самоубійство; но
какъ ее до этого не допускали, то она поняла, что такова видно воля богини и примирилась съ своею участью.
Въ этомъ бракѣ она имѣла сыновей: Витовда (Витольда,
въ 1350 году), Патрика, Товцивилла и Сигайлу (Сигизмунда) и дочь Дануту.

Послѣ удавленія мужа ея Кейстута, по повелѣнію племянника его Ягайлы, въ замкѣ Крево, въ 1382 году, она, въ царствованіе сына своего Витольда, возвратилась опять въ Полунгу, гдѣ и оставалась въ своей

въръ до смерти, послъдовавшей въ 1416 году.

Всѣ историки единогласно свидѣтельствуютъ, что Бирута родилась около 1331 года, взята въ замужество въ 1348, родила Витольда въ 1350, овдовѣла въ 1382, умерла въ 1416 году. Была служительницею алтаря Прауримы 18 лѣтъ.

Вирута отличалась прекрасными качествами души и большимъ умомъ, за что народъ обоготворилъ ее еще при жизни. Но замъчательнъе всего то, что жмудины

донынъ считаютъ ее святою, хотя она и не была христіанкою, и молятся на ея могилъ.

Стрыйковскій говорить:

"Въ Полунгъ, надъ самымъ моремъ, я видълъ высокую гору, урочище Бируты, называемое свистосъ-Бирутосъ (?). Тамъ жмудь и куроны совершаютъ до сихъ
поръ праздникъ ея; туда пріъзжаетъ и католическій священникъ и дълаетъ большіе сборы изъ разныхъ пожертвованій и свъчей, хотя я и не думаю, чтобы жертвы
эти принималъ Богъ, потому что Вирута была поганка!"

Зачёмъ же священникъ принимаетъ эти жертвы и, изъ корыстныхъ видовъ, дозволяетъ христіанамъ чтить эту "поганку"?

Нарбутть (ч. *I. стр.* 88), въ подтверждение этого, пишетъ: "Гора Бируты находится недалеко отъ м. Полангена, на самомъ берегу моря, покрытая сосновымъ лъсомъ и увънчанная высокимъ деревяннымъ крестомъ. На этой горъ стояло капище *Праурими* и находится могила *Бируты*. Народъ называетъ ее: *Ракитист Швъстаст Бируты*.

Не свистост и не швыстист, какъ коверкаютъ это прилагательное Стрыйковскій и Нарбутть, по незнанію литовскаго языка, а швентист Бирутист нужно говорить правильно.

Жертвенникъ *Прауримы* и обряды, совершаемые въ честь ея, пережили, по причинѣ, изъясненной выше, всѣ языческія капища и другіе остатки идолопоклонства. Ни Ягайло, ни Витольдъ, изъ уваженія къ княгинѣ Бирутѣ, не могли склонить ее къ принятію христіанства и потому она оставалась въ язычествѣ до смерти. (Нарб. ibid).

# VII.

## НІОЛА.

### Жена Поклуса, литовскаго бога ада.

Поклуст—подземный богъ, богъ ада, повелитель душъ умершихъ, мучитель душъ гръшниковъ. Ему давали много разныхъ именъ: Поклуст, Поколюст, Поколе, Пиколе, Пиколе, Прагартист, от прагараст—адъ.

У всѣхъ народовъ, признававшихъ *Плутона*, сохранился миоъ о женитьбѣ его на дочери богини, похищенной и унесенной въ адъ. Египтяне, греки, финикіяне, римляне вѣрили въ тотъ же миоъ. Индійцы, у которыхъ Плутонъ называется Mahadewa, придаютъ ему жену, по имени Khali.

Литовскій Плутонъ, т. е. *Поклусъ*, былъ женать на *Ніолю*, дочери богини плодовъ земныхъ *Крумины* (таже *Церера*). Вотъ какая существуетъ объ этомъ легенда:

Царица страны, лежащей на берегу моря *Бълаго* (Балтійскаго), богиня *Крумини*, имѣла дочь *Ніолу*, съ которою жила въ замкѣ надъ рѣкою *Рось* (Нѣманъ). Ніола была необыкновенною красавицею и мать берегла ее, какъ зеницу ока. Но не долго ею тѣшилась она:

Поклуст, великій подземный богъ, воспылаль къ ней пламенною любовью и поклялся овладеть девушкою. Долго онъ подстерегалъ ее безуспъшно, такъ какъ она была охраняема бдительною стражею. Но вотъ въ одну весну Ніола захотіла сділать матери сюрпризь изъ цвътовъ, которые росли на берегу Роси и были видны изъ оконъ замка. Съ этою целью она незаметно выбежала изъ дому. Нарвавъ цвътовъ, она замътила великольпный цвытокъ, который колыхался на волнахъ, недалеко отъ берега и блисталъ всвии цвътами радуги. Какъ ръка въ томъ мъстъ была очень мелка, то Ніола, чтобъ достать цвътокъ, оставила обувь на травъ и вошла въ воду; но Поклусъ, который и принялъ на себя видъ цвътка, едва она приблизилась къ нему, схватилъ ее и увлекъ съ собою въпреисподнюю. На берегу раздавались тщетные крики и плачъ слугъ Ніолы, выбъжала и сама Крумина, но кромъ обуви въ зеленой травѣ никакихъ другихъ слѣдовъ пропавшей царевны не напіли. Царида, въ справедливомъ гнівві на служанокъ дочери, прокляла ихъ и превратила въ Нендры (камыши), которые и донынъ растуть на берегу, уныло покачивають головами и ждуть, не вынырнеть-ли изъ воды ихъ прекрасная царевна?

Несчастная мать поняда, что похищение дочери ея совершиль кто нибуть изъ боговъ, повелителей земного или водяного царствъ, и пошла по цѣлому свѣту отыскивать ее. Много лѣтъ продолжалось путешествие ея, но всѣ поиски были напрасны. Возвратилась она въ Литву съ тѣми же слезами, съ которыми вышла. Путешествие ея, однако, не было безплоднымъ: она выучилась въ чужихъ странахъ искусству обработки полей и засѣва ихъ разнымъ хлѣбомъ, сѣмена котораго привезла съ собою въ изобили. Она начала учитъ бѣдный народъ, питавшійся только дикими произведеніями природы, земледѣлію. Случилось, что потребовалась выру-

бить подъ пашни одинъ дремучій лѣсъ, населенный когда-то чудовищами и страшилищами, называемыми Станубунами, тамъ Крумина нашла огромный камень, на которомъ была надпись, изрытая предъ началомъ временъ перстомъ самого Предвѣчнаго о будущей судьбѣ Ніолы, дочери ея. Едва прочитала она эту надпись, какъ воспылала страшнымъ гнѣвомъ и местью и спустилась въ подземное царство Поклуса, Прагарасъ, адъ. Но тамъ гнѣвъ ея былъ обезоруженъ трогательною встрѣчею съ безсмертною своею дочерью, окруженною прекраснѣйшими дѣтьми, которыя, упавъ на колѣни, умоляли богиню помиловать ихъ родителей. Крумина не только умилостивилась, но и согласилась прогостить у дочери нѣсколько лѣтъ.

Когда же она возвратилась на землю, то царство ея представило ей еще болье трогательный видь: бродяжество, тунеядство, грабежи, разбои исчезли; нужда, голодь, нищета замьнились довольствомь, изобиліемь; земледьліе процвытало; хлыбовь были полные закрома; народь боготвориль свою царицу и учительницу самаго высшаго искусства.

Крашевскій воспроизвель эту легенду въ поэмѣ своей "Витолерауда".

Нарбутть, на стр. 63, тома I, говорить, что легенду эту онъ открыль лично въ Россіенскомъ увздв (Ковенск. губ.), въ окрестностяхъ м. Посвънты. Весь разсказъ очень поэтиченъ, прекрасно представляетъ народное творчество и нътъ повода ему не довърять.

do.

## VIII.

# упин А,

### литовская богиня ръкъ.

Упа—по литовски ръка. Упина—богиня ръкъ, ръчекъ, ручьевъ и вообще текучей воды. Это побочное, какъ бы вспомогательное божество, созданное суевъріемъ народа.

Стрыйковскій, какъ вообще крайне поверхностно относящійся къ литовскимъ богамъ, эту богиню переименовываетъ въ боги и на стр. 145 говоритъ:

"Упинист-Дъваст – богъ, имѣвшій въ своей опекѣ рѣки. Ему приносили въ жертву бѣлыхъ поросятъ, чтобы вода была чиста".

Нарбутть (ч. I, стр. 73) пишеть следующее:

"Недалеко отъ Ковна, на лѣвомъ берегу Нѣмана, находится небольшое мѣстечко Сапъжишки. Дорогу, ведущую къ нему, перерѣзываетъ ручей, называвшійся прежде ручьемъ Упини, а нынѣ ручьемъ Спасителя. Лѣтомъ, въ каждый праздникъ, особенно же на Ивана-Купалу, тамъ бываетъ огромное стеченіе народа; каждый при ручьѣ молится, умываетъ себѣ голову и лицо и пораженныя болѣзнію части тѣла. Этотъ ручей—литовская силоамская купель. Послѣ омовенія, больной ор-

ганъ вытирается чистымъ кускомъ бѣлаго холста, который и оставляется или висящимъ на кустѣ, или прямо разостланнымъ на травѣ. Тряпья этого никто не трогаетъ, изъ опасенія, чтобы болѣзнь, оставшаяся на тряпкѣ, не перешла къ нему. Оттого на берегахъ ручья гніетъ такая масса холста, что въ иномъ мѣстѣ можно было бы обогатить имъ бумажную фабрику".

Это писалъ Нарбуттъ въ 1835 году. Любопытно было бы знать, соблюдается ли этотъ обычай въ наше время и много ли бумажныя фабрики оставляютъ теперь этого тряпья на берегахъ ручья Упины?

"Надъ ручьемъ-продолжаетъ Нарбуттъ-съ правой стороны дороги, находится деревянная часовенька, съ расилтіемъ, построенная на небольшомъ холмъ, на которомъ, по преданіямъ, стоялъ когда-то жертвенникъ богини Упины. покровительницы пелебнаго ручья. Старожилы помнять, что даже во второй половинъ прошлаго стольтія существовало какое-то женское братство, исполнявшее обряды богини Упины. Настоятель тамопняго костела ксендзъ Янковскій, въ 1813 году, разсказываль мнъ подробности того, что самъ онъ видълъ лъть 40 тому назадъ. Пока братство это не было запрещено, къ ручью изъ окрестныхъ деревень собиралось несколько женщинь, повидимому корчившихъ изъ себя чародъекъ, подъ предводительствомъ неизвъстной старухи, которая появлялась разъ въ годъ въ "празд-никъ Росы" (нынъ ап. Петра и Павла), какъ бы ниспосланная сверхъестественною силою (?). Говорили, будто она прівзжала на летающемъ козлѣ (?). Эти колдуньи разводили огни, пъли какія-то пъсни, плескались въ ручьъ, пекли какія-то лепешки и раздавали народу, который за то приносиль имъ рыбу, раковъ, птицъ водяныхъ, лъсныхъ и домашнихъ, поросятъ и серебрянныя деньги. Съ наступленіемъ утра этотъ "шабашъ въдъмъ" прекращался, баба исчезала безслъдно и все приходило въ обычный порядокъ. Этимъ обрядомъ ручей считался освященнымъ бабою, называемою Упиною, и пріобрѣталъ цѣлебную силу на весь годъ.

"Суевърный обрядъ этотъ былъ уничтоженъ старостою Забълло и въ 1783 году, на холмъ богини Упины, сооружена часовня во имя Спасителя, о которой сказано выше. Съ тъхъ поръ ксендъъ ежегодно, въ канунъ Іоанна Крестителя, пріъзжаетъ святить ручей, который до нынъ не утратилъ своей цълебной силы (?). Замъчательно, однако же, то, что цълебность воды ограничивается только предълами часовни и нъсколько ниже ея; выше же, т. е. по ту сторону дороги и ниже, при виаденіи ручья въ Нъманъ, никакой врачебной силы въ ручьт не обретается (!!), хотя и весь ручей состоитъ изъ чистой ключевой, обыкновенной воды, не содержащей въ себъ никакихъ постороннихъ примъсей".

Очевидно, здѣсь духовенство фанатизируетъ и эксплоатируетъ народъ, обративъ суевѣріе его въ оброчную для себя статью.

Впрочемъ, разсказъ этотъ оставляемъ на отвѣтственности Нарбутта.

## IX.

## ГУЛЬБИ,

## Геній-покровитель человѣка.

Гульби—нѣчто въ родѣ ангела-хранителя. Гульби были боги и богини (Дтваст и Дтвэ); первые для мужчинъ, вторыя для женщинъ; слѣдовательно, боговъ этихъ было на свѣтѣ столько же, сколько и людей. Между простымъ народомъ, даже въ вѣкахъ христіанства, со-хранилась вѣра, что у женщинъ ангелъ-хранитель есть женскаго рода.

Древне-латышскій народъ называль ихъ *Люлькисъ* и они были у него такъ же популярны, какъ и въ Литвѣ.

(IIImendepz. "Lett. Gramm.").

Стрыйковскій (ч. І, стр. 146) говорить:

"Gulbi Dziewos (?), богъ, который хранитъ каждаго человѣка отдѣльно, по нашему ргоргіит Genium, ангелъ-хранитель; ему приносили въ жертву—мужчины бѣлыхъ каплуновъ, а женщивы—пулярокъ".

Тульбист, на старо-жмудскомъ языкъ, значитъ хвалебный; а гульбинтаст—похвальный. Каждая звѣзда изображала собою Гульби одного изъ людей. Если человѣкъ умиралъ, то звѣзда его падала съ неба и гасла. (Нарбуште, ч. 1. стр. 103).

"Въ древности—говоритъ тотъ-же Нарбуттъ— чрезвычайно вѣрили въ геніевъ, которые были извѣстны подъ названіемъ *Genii*, *Demonii*. О нихъ очень много преданій. Самъ Сократъ сознавался, что онъ имѣлъ близкаго себѣ *демона*".

Съ самаго рожденія человѣка, его окружали два генія: добра и зла, и потомъ, смотря по характеру его, одинъ изъ нихъ оставался при немъ на всю жизнь.

Крашевскій, въ поэмѣ своей "Витольдовы битвы", изображаетъ Гульби Витольда, великаго князя литовскаго (сына Кейстута и Вируты), въ двухъ прекрасныхъ поэтическихъ образахъ. Привожу ихъ здѣсь въ моемъ переводѣ—не какъ авторитетъ Крашевскаго, а ради прелести поэтическаго вымысла, дающаго понятіе о вѣрованіи народа въ созданный его суевѣріемъ культъ Гульби.

Вотъ первая картина:

Витольдъ, послѣ женитьбы на дочери Смоленскаго князя Аннѣ Святославовнѣ, предался нѣгѣ и совсѣмъ отказался отъ участія, съ отцемъ своимъ Кейстутомъ, въ битвахъ противъ враговъ, разрывавшихъ край со всѣхъ сторонъ.

Однажды ночью, когда Анна уже спала, Витольдъ, облокотясь на руку, въ полудремотѣ, молча смотрѣлъ на огонь, пылавшій въ комнатѣ и куда-то далеко уносился мыслями. Вдругъ, неизвѣстно откуда взялся приземистый, сухой старичокъ, съ длинною, сѣдою бородою и, не поклонясь домашнимъ богамъ (Коболямъ), сѣлъ у огня, и какъ бы у себя дома, началъ поправлять огонь

и обогревать исхудалые, окочентвшие свои члены. Ви-тольдъ сорвался съ ложа.

- Кто ты? воскликнуль онь въ гивев.
  - Издалека! отвътилъ старецъ спокойно.
- Но какъ ты смътъ войти сюда? Ты върно не знаешь, что эта комната моя, комната князя, порогъ которой не смъетъ переступить ни одна нога мужская, кромъ моей?

Старикъ печально потрясъ головою и, продолжая грѣть передъ огнемъ руки, отвѣчалъ:

- О, знаю я, знаю гдв нахожусь! Ты Витольдъ, сынъ героя Кейстута, а это твоя жена Анна, дочь князя Смоленскаго. Эта комната твоей жены, комната, окруженная таинственнымъ полусвътомъ; комната нъгъ и наслажденій, праздности и лъни; комната, въ которой роскоши и пирамъ принесены въ жертву молодость и слава; въ которой погребены величіе и безсмертное имя.
- Но кто же ты, злой старикъ? Какъ смѣешь ты прерывать мой сонъ и терзать мою душу, словно ястребъ птицъ беззащитныхъ? Клянусь богами—со мною справиться тебѣ не легко: нападай на тѣхъ птицъ, которыя тебѣ по силамъ.
- Ба! Кто же не знаетъ Витольда? возразилъ старикъ, вытягивая предъ огнемъ свои посинѣвшія руки и пронизывая острымъ взглядомъ Витольда. Да, былъ Витольдъ орленкомъ; но былъ имъ въ молодости; любилъ, какъ орелъ, свободу и пылъ битвъ, любилъ свой народъ и свою славу; но теперь орелъ уже не орелъ: женщина подрѣзала ему крылья; онъ прозябаетъ въ гнусномъ бездѣйствіи предъ домашнимъ огнищемъ, слушаетъ сладкія пѣсни, играетъ прялкою, крѣпко держится за женскую юбку и ничего ему больше не нужно.

- Послушай! крикнуль въ неистовствѣ Витольдъ. Говори, кто ты—или мой мечь....
- Твой мечь?... О, юноша! Никто со мною не вступалъ еще въ бой. Да и до боя-ли тебъ? Тебъ пиры, да пъсни!... Я...

Онъ всталь, вытянулся и достигъ головою потолка.

— Я твой Гульби. Прихожу къ тебъ по воль боговъ, чтобъ упрекнуть тебя за позорную твою праздность. Витольдъ, Витольдъ! Бездействіе твое гнусно! Если охотничья собака долго не травила звъря, она не годится уже для ловитвы; а ты... и ты забудешь о битвахъ! Взгляни на ту звъзду, которая изъ-за тучи такъ ярко сіяетъ надъ твоею головою. Это зв'єзда Витольда. Хочешь ли, чтобы она погасла въ женской свътлицъ? Хочешь-ли блескъ ен притмить пламенемъ женскихъ объятій?... Нътъ, Витольдъ, не тебъ почивать на мягкомъ ложъ и нъжиться при домашнемъ очагъ! Не для тахъ слава, которые коснеють, какъ мутная, стоячая вода въ долинъ, дозволяющая заволокать себя волорослями и плъсенью и не могущая вырваться на свободу, чтобъ разрушить всё преграды и напоить жаждущую ниву. Не для того, Витольдъ, родился ты на свътъ, не для того славный отець выняньчиль тебя на боевыхъ рукахъ своихъ, чтобъ ты покорно ползалъ у ногъ женщины и упивался ея попълуями!!

Гульби исчезъ.

Липо Витольда пылало. Онъ искалъ рукою вокругъ себя меча, но подъ руку попадалась только мягкая, нѣжная женская одежда. Не приманила его сонная, прелестная улыбка красавицы-жены. Онъ не возвратился на супружеское ложе, но вышелъ на дворъ замка, вельлъ готовиться дружинѣ, сѣдлать коней—и когда засіяла заря, онъ съ отцемъ уже мчался къ владѣніямъ Тевтона.

Другал картина относится къ детству Витольда.

У Витольда колыбели, Услаждая дётскій слухъ, Два крылатыхъ духа пѣли. Въ изголовьи черный духъ, Наклонясь надъ колыбелью, То рычить гіены злій, То зальется мелкой трелью, То шипить, какъ лютый змъй. Взоръ, исполненный измѣной, Безпощаденъ, злобенъ, дикъ, И покрытый бѣлой пѣной, Красный высунуть языкъ. Бълый духъ глядить съ тоскою, На коленяхъ и въ слезахъ, Какъ младенческой душою Овладъть стремится врагъ. Спить дитя; сквозь сонь внимаеть Дивнымъ пъснямъ двухъ духовъ:

Спитъ дитя; сквозь сонъ внимаетъ Дивнымъ пъснямъ двухъ духовъ: Сердце юное пылаетъ, На шекахъ играетъ кровь. Черный, осънивъ крылами, Съ нъгой, дътское чело, Обольщаетъ умъ мечтами Духу бълому на зло:

"Ты будешь великимъ, какъ предки твои, Любимцы боговъ Святорога \*);

<sup>\*) &</sup>quot;Долина Святорога", литовскій Олимпъ, нынёшняя Каседральная илощадь, сь лёвымъ берегомъ р. Вялін (у литовцевъ р. Нирисъ).

12

Ты мірь поб'єдищь и народы земли Признають въ тебѣ полубога. Напрасно ляхъ хитрый крестомъ золотымъ Тебя обольщать покусится: Останешься верень богамь ты своимъ И мечь твой на кресть ополчится. Кровавый задашь ты врагамъ своимъ пиръ; Чело твое славой заблещеть: Меча твоего испугается міръ И славъ героя восплещетъ! "Ты будешь великимъ, какъ предки твои, Герои изъ камня и стали, Что хладно смотръли на крови ручьи И трупы ногой попирали; Что Русь и закованный въ латы Тевтонъ, Давили железной пятою; Что грозному Ляху писали законъ И кровь его лили рекою. Кровь дъдовъ въ тебъ неизмънна, чиста: Всь въ въръ отцевъ умирали; Нещадными были врагами креста И край отъ него охраняли. Великаго царства ты будешь творцемъ, Состдямъ могуществомъ страшенъ, Изъ тълъ и костей ты вънцемъ, Какъ лаврами будешь украшенъ".

Спить дитя; сквозь сонъ внимаетъ
Злаго духа пъснъ злой;
Къ духу руки простираетъ
И душею рвется въ бой.

Въ мысляхъ губитъ вражій станъ И страдалица святая, Съ кровью бьющею изъ ранъ, Ожила Литва родная!

Бѣлый духъ поетъ съ тоской; Онъ вздыхаетъ, плачетъ, стонетъ; Сознаетъ, что пѣснью той Сердца дѣтскаго не тронетъ: Звуки трубъ и звонъ мечей Разжигаютъ жаръ въ крови; Чуждо ангельскихъ рѣчей, Пѣсней мира и любви.

"Ты будешь великимъ; сіяньемъ креста Великій твой край озарится; Разрушитъ куміры и свѣтомъ Христа Съ тобой твой народъ просвътится. Ты будень великимъ не дедовъ твоихъ Облитою кровью державой, А рядомъ дѣяній великихъ святыхъ, Христовой всемірною славой. "Ты будень великимъ и сердцемъ своимъ Поклонишься въчному Богу; Не склонишься духомъ къ внушеніямъ злымъ И къ небу познаешь дорогу. Ты будешь великимъ: твоею рукой Насадятся миръ и свобода; Въ Литвъ перестанетъ кровь литься ръкой, Ты будень спасеньемъ народа. "Ты будешь великимъ, прощая врагамъ, Любя свой народъ непритворно;

Оплотомъ ты будень христовымъ церквамъ, Кресту покланяясь покорно. Огни на языческихъ всѣхъ алтаряхъ Потушинь въ лѣсахъ Святорога; Награда за то тебя ждетъ въ небесахъ Предъ ликомъ правдиваго Бога!"

Спить дитя спокойно дышеть;
Пѣсни ангела не слыпить,
Но къ той пѣснѣ клонить слухъ,
Что поеть ему злой духъ;
Ангель плачеть, ангелъ стонеть:
Сердца дѣтскаго не тронеть
Звукъ его святыхъ молитвъ:
Оно жаждетъ слезъ и битвъ!
Торжествуетъ сила злая,
Душу юную прельщая,
И хохочетъ злобно бѣсъ
Надъ посланникомъ небесъ!

### X.

# ЛИТОВСКО-ЯЗЫЧЕСКІЕ ПОГРЕБАЛЬНЫЕ ОБРЯДЫ.

Вопросъ о погребении человъка современенъ ему самому. Природа земли украппаетъ лицо свое царствами животнымъ и растительнымъ, которыя и обращаетъ потомъ въ собственный тукъ, въ матеріалъ для собственнаго удобренія. Она дозволяеть созданію своему цвъсти и красоваться, осыпаеть его встии дарами своими, но потомъ, за краткій срокъ существованія его, обрываеть всв свои дары и самого его, эта злобная ростовщица захватываеть въ вид'в процента. Образцомъ своихъ д'вйствій природа представила намъ дерево: дерево, красующееся листвою, роняеть, въ предназначенный ему срокъ, устаръвшую листву, для утученія ею почвы вокругъ себя и возобновленія листвы съ новымъ пробужденіемъ природы. Точно также и устаръвнія украшенія лица земли обращаются въ тукъ ея, для возрожденія новыхъ покольній обоихъ царствъ, новыхъ украшеній лица земного. Перегнившій прахъ дарства животнаго возрождаетъ силу царства растительнаго, которое, служа пищею царству животнаго, способствуеть, въ свою очередь, его жизни и происхожденію новаго покольнія. Такимъ образомъ, смерть есть только перерожденіе, круговоротъ жизни, обновленіе естества!

Жизнь не умираетъ никогда.

Истина старая и всёмъ извёстная. Тёмъ не менёе, однако же, человёкъ, какъ совершеннёйній типъ изъ царства животнаго, не хочетъ, въ самообольщеніи своемъ, быть, наравнё съ прочими животными, простымъ тукомъ земли, и потому упорно, хотя и тщетно, придумываетъ всё средства обойти этотъ законъ природы. Люди сжигали тёла свои, превращали въ окаменёлости бальзамированіемъ, замуровывали въ стёны катакомбъ и пирамидъ, но дани изъ себя природё-земли, для удобренія ея, отмёнить до нынё не успёли: земля всегда получала свою дань въ дымё, испареніяхъ, газахъ погребаемаго тёла, да и самое тёло не уходило отъ нея, хотя бы пролежало тысячелётія въ урнё или въ формё муміи: не улетитъ же оно никуда съ земного шара!

Оттого всё народы пришли наконець къ убѣжденію, что самое правильное погребеніе есть преданіе тѣла землѣ, отъ которой оно взято и въ которую должно возвратиться по непремѣнному закону природы.

Шютцъ, Гарткнохъ, Геннебергеръ и даже Дусбургъ клеветали на литвиновъ, доказывая, будто у нихъ существовалъ варварскій обычай ускорять смерть трудно больныхъ, увѣчныхъ, калъкъ и долго мучившихся въ предсмертной агоніи. Практиковалось это отчасти только между Герулами и то не по обычаямъ времени или указаніямъ религіи, но по личному требованію нѣкоторыхъ, измученныхъ долговременными болѣзнями и суевѣрныхъ старцевъ.

Извъстно, что верховные жрецы, *Креве-Кревейты*, достигнувъ глубокой старости, добровольно и всенародно

сжигали себя на костръ, чъмъ приносили себя за народъ въ жертву богамъ. На основани этого и всякое само-

убійство не считалось въ Литвъ предосудительнымъ.
Аванасьевъ, въ статьъ "Примирг вліянія языки на образованіе народных впровиній и обрядовг" ("Древности" т. І, вып. І, Москва, 1865 г.), также ничего не говоритъ о добиваніи умирающихъ, но свидѣтельствуетъ, что если человѣкъ трудно кончается, то "чтобы душа скорће разсталась сътвломъ, двлаютъ отверстие въ потолкъ и въ кровлъ избы или отворяютъ окно. Обычай этоть извъстенъ въ Германіи и Россіи. Какъ продолжительная агонія отходящаго въ иной міръ, такъ и трудные роды родильницы заставляють германскихъ простолюдиновъ отворять дверь, отпирать окно и приподнимать нѣсколько черениць или драницу (D. Myth. стр. 801, 1133; Иллюстр. года I, стр. 415, Черты изг исторіи и жизни Лит. Нар., стр. 112). Душа представлялась связанною съ тѣломъ до той норы, пока не являлась смерть и не разрѣзывала соединяющей ихънити, выпряденной Паркою (по-литовски Верппа или Верпантея). Во многихъ деревняхъ, по выносѣ покойника, запирают ворота, чтобы вслёдь за умершимъ хозяиномь не сошли со двора его родные и животныя. Желаніе скрыть отъ смерти дорогу въ людское жилище вызвало обычай выносить трупъ усопшаго не въ тъ двери, которыми ходять живые, а въ какое нибудь нарочно сдъланное отверстіе, которое потомъ снова закрывалось. Такъ, германцы, въ языческую эпоху, разбирали для того ствну и выносили мертвеца головою впели для того стъну и выносили мертвена головою вне-редъ, либо проканывая отверстіе подъ стѣною и даже подъ порогомъ. Нынѣ обычай этотъ соблюдается только въ отношеніи злодѣевъ и самоубійцъ". Но Карлъ Шайноха, авторъ "Ядвиги и Ягайло" (перев. Кеневича, СПБ. 1880), отличный знатокъ Литвы,

ен исторіи и обычаевь, не скрываеть жестокихь обык-

новеній языческой Литвы и говорить въ ч. ІІ, стр. 244:

"Въ духѣ равнодушія къ жизни, случалось, что родители топили младенцевъ женскаго пола. Та же судьба ожидала калѣкъ и болѣзненныхъ дѣтей, какъ лишнее для общества бремя, которое и въ здоровомъ состояніи не могло побороть трудностей жизни. Затѣмъ шла очередь стариковъ и больныхъ матерей, которымъ сыновья укорачивали жизнь, такъ какъ "человѣческая нищета непріятна богамъ", а дни безсильной старости увеличиваютъ всеобщую нищету. Одержимыхъ продолжительными болѣзнями, не поддающимися лѣченію жрецовъ, послѣ ворожбы послѣднихъ на священномъ огнѣ, душили или сжигали на кострахъ" (Aen. Sylv. Opp. 418 и Voigt. Gesch. I, стр. 564).

Нарбуттъ, Юцевичъ ("Литва", стр. 285) и К. Войцицкій ("Изслидов. Слав. Древностей"), основываясь на Стрыйковскомъ (стр. 143), единогласно описываютъ послъднее пребываніе человъка на земль.

Каждый литовецъ и жмудинъ, какъ только чувствовалъ приближение смерти, старался, по мъръ своихъ средствъ, пріобръсти одну или двъ бочки пива и потомъ собиралъ всъхъ своихъ родныхъ, друзей и знакомыхъ на прощальный пиръ. Когда приглашенные собирались, умирающій прощался съ ними и просилъ у всъхъ прощенія. Пиръ продолжался до самой смерти пригласивтияго.

Къ этому Юцевичъ, на стр. 293, прибавляетъ: "нынъщне погребальные обряды очень сходны съ древними. Какъ только замътятъ, что больной умираетъ, тотчасъ выносятъ изъ избы всъ съмена, въ томъ убъжденіи, что онъ не взойдутъ. Если же агонія очень продолжительна и больной сильно мучится, то изъ-подъ головы его вытаскиваютъ подушку, а неръдко дълаютъ надъ постелью его отверстіе въ потолкъ и крышъ, дабы дуща свободнѣе могла улетѣть на небо. Теперь умирающему даютъ въ руки зажженную свѣчу—православнымъ страстную, а католикамъ — срѣтенскую (громницу), а по кончинѣ покойнику немедленно закрываютъ глаза, "дабы онъ не манилъ другихъ на тотъ свѣтъ".

Но станемъ продолжать прерванное сказаніе: Какъ только наступила смерть, покойника тотчасъ уносили въ баню, гдѣ чисто его обмывали, потомъ приносили въ избу, надѣвали на него длинную бѣлую рубаху и садили въ кресло съ ручками или въ углу избы. Тогда каждый изъ гостей подходилъ къ нему съ кружкою пива и приговаривалъ: "пью къ тебѣ, любезный другъ! И зачѣмъ тебѣ было умирать? Развѣ у тебя нѣтъ жены, дѣтокъ, всякаго добра"... и т. д. Послѣ этого къ нему пили вторично на "прощанье" и просили, чтобы онъ на томъ свѣтѣ кланялся ихъ родителямъ, братьямъ, сестрамъ, родственникамъ и друзьямъ. Послѣ этого начинались плачь и траурныя пѣсни (Рауды).

Янъ Малецкій (Maelecius), онъмеченный польскій протестанть изъ м. Лыкъ въ Пруссіи, написавшій разсужденіе о язычникахъ, жившихъ еще въ Европъ: "Libellus de sacrificiis et idolatria veterum Borussorum, Livonum aliarumque vicinarum gentium", легкомысленно смъщиваетъ литовскій языкъ съ бълорусскимъ и на "linqua Ruthenica" приводитъ слъдующее "funebris lamentatio", увъряя, что оно русское:

"Га, леле и прочъ ти мене умарлъ? И за ти не мэль што псти, альбо пити? И прочъ ти умарлъ?... Га, леле, и за ти не мэль красное млодзице? И прочъ ти умарлъ"?

(Мпржинскій, Кіевскій рефератъ, страница 183).

Иностранные писатели, повторившіе этоть сумбурь, хорошее же пріобръли понятіе о русскомъ языкъ! Вотъ они "историческіе источники"!

Крашевскій эту "Рауду" передаль прекраснымь звучнымь стихомь въ поэм'в своей "Витолерауда". Прилагаю ее въ перевод'ь:

Зачёмъ ты насъ бросилъ, чего не хватало Тебѣ здѣсь, усопшій нашъ братъ? Иль въ домѣ печально? Иль радостей мало? Иль нашей любви ты не радъ?

Иль мало осталося дикаго звѣря Въ литовскихъ дремучихъ лѣсахъ? Иль встрѣтилась въ жизни потеря? Иль лукъ сокрушился въ бояхъ?

Иль мало тебя мы здѣсь, брать, уважали? Иль братьевъ не миль быль привѣтъ? Жена ли и дѣти любить перестали, Покинуть заставили свѣтъ?

Зачёмъ же оставилъ ты здёсь сиротами Жену и дётей и родимую мать? Зачёмъ мы должны обливаться слезами, И больше ужъ въ жизни тебя не встрёчать?

Для погребенія одъвали покойника, если онъ принадлежаль къ высшему сословію, въ лучшія его одежды, опоясывали мечемъ и, какъ подробно описано въ "Загробной жизни, по литовско-языческимъ представленіямъ", приготовляли къ торжественному сожженію по тогдашнимъ обрядамъ, вмъстъ съ любимыми рабами, а иногда и съ плънниками, а также съ конемъ, псами, соколами и проч. Простыхъ людей хоронили съ орудіями ихъ промысла, такъ какъ върили, что и за гробомъ человъкъ будетъ принадлежать къ тому же сословію, къ какому принадлежаль при жизни. Кромъ того, мужчинамъ затыкали за поясъ топоръ и вокругъ шеи обматывали полотенце, въ которое завязывали по мъръ

возможности нѣсколько монеть. Женщинамъ давали въ гробъ иглу съ нитками, дабы покойница могла починить свою одежду. Молодыхъ парней хоронили съ кнутомъ за поясомъ, дѣвушекъ съ вѣнкомъ на головѣ, а дѣтей осыпали полевыми цвѣтами. (Стрийк., стр. 143, Ючев., стр. 295).

Пруссаки и жмудины вмѣстѣ съ покойникомъ погребали деньги, хлѣбъ и кувшинъ меду или пива, дабы дута не чувствовала ни голода, ни жажды. По замѣчанію Войципкаго, въ Красной Руси, въ настоящее время, вмѣсто погребенія хлѣба съ покойникомъ кладутъ на гробъ два коровая хлѣба, которые потомъ забираетъ священникъ. Для поминовенія же души (на паннихиду) жертвуютъ въ перковь миску, ложку и рюмку; если по мужчинѣ, то прибавляютъ еще сорочку, а если по женщинѣ, то "примитку" (кусокъ холста).

Но отъ смерти до погребенія еще далеко, особенно, если покойный быль князь или знатный *багорасз* (боярынь).

Мѣржинскій, въ неизданномъ манускриптѣ своемъ, разбирая нѣкоторыхъ писателей о литовской миеологіи, приводитъ чрезвычайно важныя выписки изъ Вульфстану— оприводитъ на важныя выписки изъ Вульфстану— оприводитъ на важныя выписки изъ Вульфстану— оприводитъ на правомъ же берегу были вемли пруссовъ, по Тациту— литовской рассы, а по Вульфстану— осты.

Вульфстанъ говоритъ:

"Есть у эстовъ обычай, что ежели умреть мужчина, то лежить въ кругу родныхъ и друзей пълый мъсяцъ не сожженнымъ, а иногда и два; королиже и иные высшаго званія люди лежать тымь долье, чымь больше имыбогатствъ; иногда лежатъ не сожженными полугода и лежатъ на поверхности земли, въ своихъ домахъ, и въ продолжение всего того времени, въ которое лежитъ тъло внутри дома, обязаны пить и веселиться, покуда тело не сожгуть. Въ тотъ же день въ который намъреваются возложить тело на костеръ, дълять его имъніе, оставшееся еще послъ попоекъ и веселья, на пять, на шесть, а иногда и на большее число частей, смотря по величинѣ имѣнія. Затѣмъ, самую большую часть складывають въ одной миль отъ мъста пребыванія покойника, другую ближе, потомъ третью, пока не разложать все на протяжени одной мили, а самую меньшую часть ближе къ мъсту погребенія. Потомъ собираются всё тё, которые имёють самыхъ быстрыхъ лошадей, за пять и за шесть миль изъ окрестности, и тогда начинають всё скакать въ перегонку къ самой отдаленной части раздъла. Тотъ, чей конь быстрве прочихъ и прибываетъ къ части первый и наибольшей, овладъваеть ею; прочимъ, по мъръ отсталости, присуждаются и остальныя части. Каждый съ захваченною частью возвращается домой и оставляеть ее у себя. По этой причинъ у нихъ быстрые кони чрезвычайно цѣнились.

Эстамъ извъстно было искусство замораживанья мертвыхъ тълъ и потому покойники ихъ могли такъ долго сохраняться, не разлагаясь. А ежели поставять два сосуда, наполненные взваромъ или водою, то они умъли дълать, что холодъ замораживалъ ихъ не только зимою, но и лътомъ".

Мържинскій свидътельствуетъ, что Преторіусъ, живній 800 лътъ позднъе, во времена котораго Вульфстана еще не знали, говоритъ тоже самое о умъніи замораживать тъла умершихъ. Шайноха, во II части "Ядвиги Ягайло", стр. 241, удостовъряетъ, что "самыми торжественными пирами бывали поминки по умершихъ, называемые Хаутуреи или Дпды (?). Поминки эти тяжело ложились на жителей. Вообще, поклоненіе мертвымъ поглощало значительную частъ расходовъ въ жизни литовскаго язычества. Смерть всякаго человъка бросала, если можно такъ выразиться, за собою громадную тънь похоронныхъ обрядовъ. На 3-й, 6, 9 и 40 день послъ сожженія или погребенія тъла возобновлялись похоронные объды, для насыщенія толны. Между тъмъ, языческая Литва была страною нищеты. Среди князей поражала внъшность богатства и роскопи; народъ же быль нищимъ".

Все это справедливо. Но Шайноха, подъ вліяніемъ Нарбутта, смѣшиваетъ Хаутуреи съ Дпдами": первыми назывались собственно погребенія и сопряженные съ ними погребальные пиры, а послѣдніе, Поминки, совершались разъ въ годъ, во время праздниковъ Ильги (долгихъ). До послѣдней минуты погребенія надъ покойникомъ

До послѣдней минуты погребенія надъ покойникомъ должна постоянно плакать и причитать, высчитывая всѣ его добродѣтели и заслуги, какая нибудь родственница, а въ отсутствіе ея—наемныя плакальщицы. Послѣднія назывались Раудетояст (рауда-плачъ); слезы ихъ собирались въ особые сосуды и ставились въ могилѣ, въ ногахъ умершаго, или погребались вмѣстѣ съ урнами, ежели тѣло было сожжено. (Гартинохъ, 183).

Какъ образчикъ этихъ раудъ и причитаній (исключительно женщинами, потому что мужчины причитать не умѣли) приводимъ нѣкоторыя изъ нихъ. Вотъ, напримѣръ, рауда сироты надъ гробомъ матери (по Нарбутту).

Кто мои ножки прикроеть, Кто мою косу расчешеть, Кто мои губки умоеть, Кто меня лаской утвшить? Э. Вольтерь, въ стать в "Образцы литовскихъ говоровъ", приложенной къ "Катехизису Даукши", приводить нъсколько подобныхъ причитаній.

По Нарбутту и Юцевичу быль также обычай въ раудахъ восиввать хвалу почившему въ особыхъ пвсняхъ, называемыхъ Гильтиню-Раудасъ. Въ сборникъ "Литовскихъ Пъсенъ" Юцевича (Вильна, 1844) помъщено тринадцать родовъ этихъ пъсенъ.

Тотъ же Юцевичъ, на стр. 294, приводитъ слѣдуюшую рауду жены надъ мужемъ:

"Куда ты дѣвался мой голубь бѣлый? Въ какія стороны улетѣлъ? Ты для меня былъ лучше всѣхъ: Ты меня нѣжилъ, ты лелѣялъ. Теперь тебя нѣту! Куда я дѣнусь, къ кому я прижмуся? Прижалась бы къ углу-уголъ твердъ; Прижалась бы къ дереву-дерево гнется; Прижалась бы къ камню-камень холоденъ! Нѣтъ тебя, зеленое божіе деревцо! Нѣтъ тебя, молодой дубокъ, Краса нашего села!" и т. д.

Похоронные жрецы *Тилусоны* и *Лингусоны* занимались какъ сожженіемъ, такъ и погребеніемъ умершихъ. Въ утъпісніе родныхъ, они также распѣвали *рауды* въ родѣ слѣдующей:

Не плачьте по немъ, тамъ счастливѣе онъ:
Тамъ родные его возлелѣютъ;
Ни русскій, ни лейсышъ, ни грозный тевтонъ
Его обижать тамъ не смѣютъ.

Слово Лейсишт, по Стрыйковскому Лепкишт, не вполн'в истолковано польскими историками. Стрыйковскій, Нарбутть и подражатель его Крашевскій (вт., Витолераудь") переводять это словомь лахт, полякт; но Юцевичь (стр. 288) доказываеть, что Лейсишшии назывались жители города Риги и ел окрестностей, подвластные меченосцамь и нападавшіе вм'єст'в съ посл'єдними на Литву. Толкованію Юцевича (Людвика изъ Покевья) должно больше дать в'вры, потому что онъ отлично зналь литовскій языкъ и выросъ среди народа. Онъ даже приводить жмудскую пословицу: "абгаудинти кайта Лейсышь"—надуваешь, какъ рижанинъ.

Стрыйковскій, а за нимъ Войципкій, какъ сказано выше, говорять, что когда везли покойника на кладбище или къ мѣсту сожженія, друзья и вообще молодежь скакали вокругъ тѣла верхомъ и, размахивая саблями и ножами и производя ими звонъ, кричали: "Гейгейте, быгайте Пиколе!" что, будто бы, значитъ: "уходите, убѣгайте дьяволы" (отъ этого тѣла). Но тотъ же Юцевичъ (та же стр.) опровергаетъ эту форму, какъ не литовскую и происшедниую оттого, что Стрыйковскій совсёмъ не зналъ литовскаго языка, въ чемъ самъ сознавался въ собственноручномъ письмѣ своемъ къ прелату жмудскому Гимбуту. Напротивъ, слѣдуетъ произносить: "Гинкетъ, бекетъ Пиколе", что въ переводѣ значитъ тоже самое, каковая формула употребляется и до нынѣ простымъ народомъ въ Литвѣ при трупѣ каждаго по-койника.

Нарбутть (стр. 351), также по незнанію литовскаго языка, приняль форму не литовскую: "Гей, гей, бегей-те Пиколе!" т. е. прочь, прочь убъгайте Пиколи. Затъмъ онъ прибавляеть: "Независимо отъ звона сабель о сабли, Тилуссоны производили звонъ и въ колоколъ (Варпасъ), такъ какъ въ древности върили, будто звуки металла имъли свойство отгонять злыхъ духовъ отъ тъла.

(Обычай звонить по умершихъ остался и въ христіанской Литвѣ). Во время шествія ногребальнаго кортежа, мужчины устраивали скачки до вкопаннаго на извѣстномъ пространствѣ столбика и кто первый достигаль его и успѣвалъ схватить положенную на немъ монету, тотъ пользовался большою славою среди удальцовъ ".

Это подтверждаетъ сказанія Вульфстана; но послѣдніе призы (монета) не были такъ раззорительны для наслѣдниковъ, какъ вульфстановскіе.

На мѣстѣ погребенія или сожженія тѣла, Тилуссоны и Лингусоны играли на трубахъ, говаривали рѣчи, для утѣшенія родныхъ, прославляли дѣянія и подвиги покойника и напутствовали его разрѣшительною молитвою: "Иди, блаженный, съ этого бреннаго міра въ страну вѣчнаго веселья, гдѣ тебя не достигнутъ враги". Въ заключеніе, жрецы увѣряли присутствующихъ, будто видятъ покойника, ѣдущаго по "млечному (по литовскому "птичьему") пути", на борзомъ конѣ, съ тремя звѣздами въ рукѣ и вступающаго въ вѣчную обитель счастія, въ сопровожденіи друзей. (Нарбутть, стр. 352. Юцевичг, 289—295).

Малецкій (Maelecius), въ сочиненіи своемъ "De religione veterum Prussorum", описывая погребальные обряды пруссовъ и жмудиновъ, говоритъ, между прочимъ:

"Жена должна была 30 дней оплакивать мужа, сидя на его могиль, отъ восхода до захода солнца; родственники же его на 3, 6, 9 и 40-й день давали объды, на которые приглашали душу его, молясь на порогъ. За столомъ всъ безмолствовали и не употребляли ножей. Служили гостямъ за столомъ двъ женщины. Частичку каждаго кушанья бросали подъ столъ и плескали на полъ напитки, полагая, что этимъ питаютъ души умершихъ. Что изъ съъдомаго падало случайно подъ столъ, того не поднимали, предоставляя душамъ сиротствую-

щимъ, не имъющимъ никого изъ родныхъ, которые бы могли сотворить имъ поминки и пригласить ихъ на пиръ. По окончани трапезы, жрецъ, совершавний жертву, прогонялъ души вонъ, произнося: "пли, пили, душицы! Душицы, ну вэнг! т. е. вонг!

Малецкій увърнеть, будто это литовская форма. Туть нъть ни одного литовскаго слова и цълая фраза припоминаеть приведенную выше мнимо-русскую—его же:

"Га, леле и прочь ти мене умарль?"

Юцевичъ, на стр. 292, сильно возстаетъ противъ этой безсмыслицы и спрашиваетъ, на какомъ языкъ существуетъ форма: "ну вэнъ"?

Малецкій кончаеть: "Послі этого начинался самый разгарь пира и полнійшее веселье: мужчины и женщины пили взаимно за здоровье другь друга, полными кубками, обнимались, ціловались и въ конці напивались до безчувствія. Такимъ пьянствомъ заканчивалось каждое религіозное торжество поминовенія душъ умершихъ!"

Нарбутть, на стр. 354, оканчиваеть описаніе погребальныхъ обрядовь сліздующимъ образомъ:

"Послѣ сожженія нокойника, родственники и друзья его тщательно собирали пепель и остатки не перегорѣвшихъ костей въ урны, которыя нерѣдко отличались прекрасною отдѣлкою; туда же бросали тѣ вещицы, которыя покойникъ любилъ при жизни: кольца, цѣпочки, браслеты, пряжки, запонки, шпильки отъ волосъ, разныя металлическія украшенія, кораллы, янтарь въ отдѣлкѣ и самородный, разныя монеты, глиняные, росписанные шарики и т. п. Нѣкоторые изъ поименованныхъ здѣсь металлическихъ предметовъ были, при разрытіи, впослѣдствіи, могильныхъ кургановъ, находимы въ цѣлости, а другіе въ пережженномъ и слившемся отъ дѣйствія огня видѣ. Изъ этого можно заключить, что однѣ

изъ этихъ вещей сжигались вмёстё сътёломъ, а другія опускались въ урны при погребеніи праха.

Не забывали также хоронить вийстй съ покойникомъ когти хищныхъ звёрей и птицъ, въ убъжденіи, что они будутъ нужны покойнику, чтобы взобраться на гору въчнаго блаженства".

Въ статъв "Загробная жизнь" мы видели уже, что ради этой причины многіе старики переставали обрѣзывать себѣ ногти, безъ которыхъ на томъ свѣтѣ не могла обойтись ни одна душа и что многія души, не сожигавшія обрѣзковъ ногтей своихъ при жизни, должны были бродить по смерти по кучамъ мусора и собирать эти обрѣзки до послѣдняго кусочка.

"На похоронахъ, продолжаетъ Нарбуттъ на стр. 358, главную роль играли плакальщицы, которыя, по народному убъжденію, были необходимы для успокоснія твии. Обычай этотъ не искоренился въ простомъ народъ до сихъ поръ, не смотря ни на политические, ни на религіозные перевороты. Плакалыцицы- это молодыя женщины, съ здоровою сильною грудью, которыя отъ момента смерти даннаго лица до опущенія его въ могилу не перестають издавать самые ръзкіе, самые произительные крики и завыванія. Ежели умершій не имъль родной и притомъ способной плакальщицы, то приглашалась сосъдка. Удивительно, какъ эти крикуньи умъють выражать самую выстую степень отчаянія и горя; но еще удивительные то, что лица ихъ мгновенно проясняются и развеселяются, какъ только онъ перестають голосить и сходять со сцены, какъ актрисы, нисколько не проникнутыя тёми чувствами, которыя только что предъ тъмъ выражали. На похоронахъ бъдныхъ людей такого плача не бываеть; если же надъ бъднякомъ, по неимънію родныхъ, некому поплакать, то какая нибудь изъ заурядныхъ плакалыцицъ, по чувству набожности, всегда берется покричать надъ нимъ немножко".

Наплаканныя на похоронахъ слезы тщательно собирались въ глиняные или стекляпные сосуды (слезницы) и ставились въ могилахъ въ ногахъ умершаго.

Литвины плакалыцицъ называли "Верксме", а слезницы "Аштаруве" (Assaruwe).

Въ Вильнѣ, какъ полагаютъ, урны съ пепломъ князей литовскихъ погребены на Замковой горѣ, со стороны восхода солнца, а если урны были сдѣланы изъ прочнаго матеріала, то, вѣроятно, онѣ должны находиться глубоко въ землѣ до нынѣ.

### XI.

# языческія священныя мъста

### въ Вильнъ.

Переходя собственно къ виленскимъ древне-языческимъ святынямъ, необходимо остановиться надъ происхожденіемъ какъ самой Вильны, такъ и историческихъ ея мѣстностей "Долины Свенторога", "Антоколя", "Бакшти" и др.

Мъсто, на которомъ существуетъ нынъ Вильна, извъстно было еще въ XII-мъ въкъ, изъ разсказовъ исландскихъ путешественниковъ. Собиратель исландскихъ сагъ Снорро Стурлезонг, въ сборникъ своемъ "Heimskringla", доказываетъ, что онъ нашелъ въ Литвъ соплеменниковъ своихъ около Velni (Вильны) и Ттук (Трокъ) и разумълъ ихъ ръчь.

Очень можетъ быть, что въ началѣ тутъ были поселенія нормандскихъ пиратовъ, нападавшихъ на Литву въ IX-мъ и X-мъ вѣкахъ, и что они первые одному изъ поселеній своихъ дали названіе Вильны.

Валинскій въ "Исторіи Вильны", ч. І-я, стр. 7-я, говорить, что когда-то давно жило въ народъ преданіе

о какомъ-то деревянномъ замкѣ, существовавшемъ въ глубокой древности, надъ рѣкою Вильною, на той горѣ, гдѣ нынѣ находится госпиталь "Младенца Іисуса". Первобытные обитатели мѣстности, лежащей на берегу р. Вильны, литовцы и кромѣ нихъ жрецы перкунова культа и ихъ служители, составляли зародышь будущаго города еще до Гедимина.

Длугонъ увъряеть, что Вильна есть очень древній городъ, но присовокупляетъ, будто онъ построенъ предками литовскаго народа и названъ Вильною въ честь предводителя ихъ Вимуса, приведшаго этихъ предковъ изъ Италіи. Но увъреніе это, основанное на случайномъ соввучій имень, является слідствіемь непреодолимой наклонности старинныхъ литовскихъ писателей производить литовцевъ непременно отъ римскаго рода. Между тъмъ, первые норманны изъ Скандинавіи, извъстные въ IX-мъ въкъ въ Россіи подъ именемъ варяговъ, привлекаемые грабежемъ и торговлею на янтарные берега Балтики, также какъ и въ русскія страны за Двиною, ввели нъкоторый родъ цивилизаціи среди этого бъднаго люда. Въроятно, повторяемые часто набъги шведовъ, норвежцевъ и датчанъ на балтійскіе берега дали начало сказочному преданію о прибытій въ Литву изъ Рима и Ита-ліи *Палемона* и 500 его товарищей. (Балинскій, ч. І, cmp. 5-17; 43-53).

Стрыйковскій, не поступаясь своимъ *Палемоном* ни на шагъ, слѣдующимъ образомъ описываетъ основаніе *Вильны*, Долины Свинторога и Трокъ (ч. І-я, стр. 306

u m. d.).

"Со смертью Войшелка, сына Миндовга, окончилась фамилія римскаго князя Палемона, герба Колонны, и власть надъ Литвою перешла къ Дорспрунгамъ, герба Центавра (Kitaurus), также потомкамъ князей римскихъ, только другой фамиліи. Княземъ былъ избранъ Свинторого Утенесовичъ, а Левъ Даниловичъ, князь владиміръ-

волынскій, заняль русскія княжества: Подлясское, Волынское, Кіевское, Звенигородское (у Стрыйковскаго: "Swiniegrodskie"), Подгорское, гдѣ и городъ Львовъ, отъ имени своего, съ двумя славными замками, выстроилъ.

"Свинторогъ Утенссовичъ, князь жмудскій, единогласно избранный въ Кернов'в на великое княженіе литовское и новогродское, быль единственнымъ потомкомъ римскихъ князей: Юліана Дорспрунга, Проспера Цезарина и Гентора, герба Розы, которые въ эти с'вверныя страны Жмуди и Литвы, вм'єсть съ Публіусомъ Палемономъ или Либономъ, по Вожьему соизволенію, моремъ прибыли. А Свинторогъ, когда былъ избранъ на княженіе литовское, имѣлъ 96 лѣтъ!

"Свинторого (Swintorog, Swintoroh, Swiatorog, Swinterog), при жизни своей, назначиль на княжение въ Литвъ сына своего Гермунта (иные называютъ Гереймунто), князя жмудскаго. Проъзжая съ этимъ сыномъ на охоту, онъ увидалъ мѣсто въ пустынъ, между горами, гдъ рѣчка Вильна впадаетъ въ Вилю, которое ему очень понравилось и онъ приказалъ своему сыну Гермунту, чтобы на этомъ мѣстъ, между этими ръками, по смерти, тѣло его, по обрядамъ поганской религию сжечь и чтобы потомъ нигдъ, а исключительно только на этомъ мѣстъ, тъла другихъ князей литовскихъ, а также важнъйшихъ бояръ и господъ, были сожигаемы и погребаемы. Послъ этого, чрезъ два года княженія, Свинторого Утепесовичо умеръ, 98-ми лътъ отъ роду.

"Гермунтъ Свинтороговичъ, еще при жизни отда, по воль его, избранный великимъ княземъ литовскимъ, русскимъ и жмудскимъ, былъ, по смерти отда, въ 1272 г., коронованъ велико-княжескою шапкою, по обычаю, наслъдованному отъ предковъ, въ Керновъ. Потомъ, исполняя волю родителя, устроилъ погребальную долину, въ томъ мъсть между горами, гдъ р. Вильна впадаетъ

въ р. Вилію, истребиль бывшій на ней лісь, расчистиль общирную площадь и освятилъ это мъсто съ своими жредами, по обычаю поганскому, набивъ много разнаго скота въ жертву своимъ богамъ. Тамъ, прежде всего, тъло отца своего Свинторога Утенесовича, по обрядамъ въры, предаль сожжению, убравь его въ вооружение и самыя дорогія одежды. И саблю его, и сайдакъ, и копье, борзыхъ и гончихъ собакъ по парѣ, ястреба, сокола и лучшаго коня его, на которомъ всегда Ъздилъ, и раба его любимца, върнъйшаго и преданнъйшаго, живьемъ вмъстъ съ нимъ сожгли на костръ, который сложили изъ дубоваго и сосноваго л'вса; рысьи же и медвъжьи когти бояре и господа, стоя вокругъ, въ огонь бросали. Послъ сожжения, остатки тъла Свинторога были собраны въ гробъ и погребены и на мъстъ ихъ насыпана высокая могила.

"Обычай сожженія труповъ на містахъ погребенія литвины, віроятно, наслідовали отъ *Палемона* и *Либона* и отъ другихъ въ эти страны занесенныхъ римлянъ, которые также иміли обыкновеніе сжигать тіла умершихъ.

"Такимъ образомъ, и Литва, по примъру другихъ поганскихъ народовъ, князьямъ своимъ похороны чрезъ огонь совершала, на томъ мъстъ, гдъ Вильна впадаетъ въ Вилію и гдъ сожгли Свингорога первымъ. Тамъ же сожигали и другихъ князей и вельможъ до временъ Ягайлы, а назвали это мъсто именемъ своего князя Swintoroha, первымъ на немъ сожженнаго. А дабы эта долина смерти пользовалась большимъ почетомъ и святоетью, князь Гермунтъ установилъ на томъ мъстъ и обезпечилъ жрецовъ и ворожей, которые возносили богамъ молитвы и приносили жертвы. Также неугасаемый, въчный огонь изъ дубовыхъ дровъ пылалъ на этомъ кладбищъ днемъ и ночью, во славу бога Перкуна, который владълъ громами, молніею и огнемъ. А если бы, по нерадінію жрецовъ или предназначенныхъ для этой цізли служителей, огонь когда либо погасъ, тогда таковые, безъ всякаго милосердія, какъ святотатцы, бывали сжигаемы огнемъ".

Сказаніе Стрыйковскаго подтверждають: Кояловичь въ "Hist. Lithu.", ч. І-я, кн. V-я, стр. 138, и Гржи-бовскій въ сочиненіи: "Неоцененное сокровище о. о. Францисканцевъ Литовскихъ." Вильна, 1740, іп 8-о, гл. 1-я.

Балинскій, въ "Исторіи Вильны", ч. І-я, стр. 8, также не отридаеть этого сказанія и прибавляеть:

"Swintorog должно бы значить сентой алтарь, потому что по латыни годит или годиз есть мѣсто печали, предназначенное для сожженія и погребенія умершихъ. Но литвины по латыни не знали. Намъ кажется,
что Swintorog ближе должно было называться Шешнтаст-рагаст, отъ литовскихъ словъ szwyntas—святой
и гадаз—рогъ, алтарь, а вмѣстѣ сентой-рогъ, потому
что долина эта заканчивалась какъ бы клиномъ, угломъ,
рогомъ между рѣками Виліею и Вильною, а въ сторонѣ
отъ святилища Перкуна погребали прахъ умершихъ
еще до Гедимина. Русское же названіе Сентый-рогъ
могло быть присвоено этой долинѣ, потому что Вильна,
какъ ближе лежащая къ русскимъ границамъ, была посѣщаема русскими въ самомъ началѣ ел основанія.

"По этой же причинъ и нижній виленскій замокъ быль также по-русски названь Кривый - городг, такъ какъ русскій языкъ постоянно почти имълъ преимущество предъ литовскимъ, во-первыхъ, потому, что Литва находилась во власти Россіи и, во-вторыхъ, потому, что князья литовскіе, въ свою очередь, собравшись съ силами и подвигаясь своими завоеваніями внутрь Россіи, должны были изучить языкъ захваченныхъ ими славянскихъ мѣстностей. Наконецъ, русскій языкъ былъ языкомъ письменнымъ и слѣдовательно образованнымъ.

Ко всему этому нужно присовокупить, что распространявшаяся въ то время греческая религія нанесла окончательный ударъ литовскому языку".

Далье, на стр. 51 той же части, Балинскій справедливо замьчаеть:

"Во всякомъ случав, основаніе Вильны принадлежить не Гедимину, а его предкамъ. По всвмъ хроникамъ, Гермунтъ, великій князь литовскій, избраль это мѣсто для погребенія князей и почитанія своихъ боговъ, съ каковою цѣлью и назначилъ туда жрецовъ. Слѣдовательно, должно полагать, что мѣсто это было и прежде уже обитаемо и многолюдно, когда ему дано такое важное назначеніе. Самое названіе Вильны, происходящее не отъ главной р. Виліи, а отъ меньшей, впадающей въ нее Вильны, показываетъ, что прежнее поселеніе было надъ Вильною и что Гермунтъ, расчищая лѣса въ долинѣ "Швыптарагаст", и Гедиминъ, нѣсколько десятковъ лѣтъ позднѣе, сооружая замокъ на горѣ, на углу этой рѣчки возвышающейся, ничего иного не дѣлали, какъ только приближались къ Виліѣ и распространяли древнее поселеніе, лежавшее на берегу Вильны или Виленки и охраняемое однимъ деревяннымъ замкомъ".

Если историки отвергаютъ существованіе *Палемона* итальянскаго или *Балмунда* скандинавскаго, то слѣдуетъ отвергнуть и прямого потомка его *Свинторога*.

Кто же послѣ этого далъ названіе долинѣ Свинторога? Очевидно не литовцы, потому что ни швинта,
ни рагасъ слова не литовскія, а заимствованныя изъ
другого языка и изуродованныя на свой ладъ. Такъ
точно и упомянутое выше швента месте, по-русски святое мысто, а по-польски еще ближе święte miejsce или
święte miasto; швентаучисъ—святой огонь, święty ogień,
также не литовскія слова; только швента-упа—святая
рыка напоминаетъ характеръ литовской рѣчи, и то лишь
въ послѣднемъ словѣ. Наконецъ, почему швинта-рагасъ

присвоилось святын'в только виленской долины, а не другимъ такимъ же храмамъ? Изъ всего этого слъдуетъ заключить, что у литовцевъ не было слова святой и они позаимствовали его отъ русскихъ или поляковъ; а какъ, но свидътельству Валинскаго, въ Литвъ, въ глубокой древности, господствовалъ русскій, а не польскій языкъ, то и вытекаетъ прямое логическое заключеніе, что названіе упомянутой долины святымъ-рогомз было дано русскими; литовцы же передълали его въ швинтарагист. А потому мъстность эту и слъдуетъ называть долиною не Свитторога, а Святорога, по ея первоначальному названію.

Э. Вольтеръ, читавний настоящую статью въ "Виленскомъ Въстникъ", не соглашается, однако, съ этимъ моимъ выводомъ и въ письмъ ко мнъ пишетъ:

"Свинторогг — по-литевски Sventas ragas. Ragas во множествъ литевскихъ и прусскихъ мъстностей означаетъ мыст, по-нъмецки Сир (капъ). Мысъ образуется при сліяніи двухъ ръкъ, Виліи и Вилейки. Швентаст—святой; Срептая—святой, чистый — слово индо-германское или обще-арійское; если сравнивать зендскъ древне-персидское Срептая—святой; санскритск. Счита—жертва, готское huns-la—жертвоприношеніе, священнодъйствіе".

Странны, однакоже, подобныя созвучія, при названіи однихъ и тѣхъ же предметовъ, на языкахъ совершенно другъ другу чуждыхъ! Въ такомъ случав ужъ не славяне-ли позаимствовали у литовцевъ свои слова: святой, święty и рогг?

Долина эта, какъ увидимъ далѣе, занимала пространство, омываемое р. Виленкою, по берегу Виліи, именно нынѣшнюю Каеедральную площадь, Ботаническій садъ и Телятникъ, съ одной стороны до Антоколя, а съ другой—до Лукишекъ.

Но воть какъ Стрыйковскій, съ полною вѣрою въ непогрѣшимость своихъ сказаній, описываеть происхожденіе Трокъ и Вимны.

Ha emp. 369:

"Во время охоты въ пяти миляхъ отъ Кернова (столицы своей), между ръками Вакою и Виліею, Гедимину понравилось одно мъсто, на которомъ онъ основалъ гогородъ Старие Троки. Понравилось же ему это мъсто потому, что на немъ совершилась самая счастливая охота, такъ что всъ его дворяне, охотники, ловчіе, кухтики и мальчишки были обременены зайцами, лисицами, куницами и прочими мелкими звърями и птицами, которыхъ они имъли во множествъ предъ собою, за собою и на себъ связанныхъ и привъщенныхъ въ торокахъ (попольски w trokach); крупнымъ же звъремъ: лосями, оленями, дикими козами и проч. были нагружены пълые возы. Отъ слова troki Гедиминъ назвалъ свой городъ "Троками". Старими же Троками городъ началъ называться впослъдствіи, послъ постройки сыномъ его Кейстутомъ Новихъ Трокъ. Въ Старие Троки Гедиминъ перенесъ свою столицу изъ Кернова".

Балинскій противъ этого возражаеть на стр. 52:

"Извѣстно, съ какою легкомысленностію наши историки производять названіе *Трокг* отъ польскихъ охотничьихъ trok, не принимая въ соображеніе того, что литовскій городь и притомь такъ давно основанный, когда литовцы и не думали еще о сближеніи съ Польшею, напротивъ, безпрестанно нападали на нее и грабили, долженъ былъ непремѣнно имѣть свое коренное литовское названіе. Польское слово trokі вошло въ употребленіе уже послѣ введенія христіанства; городъ же Троки собственно по-литовски назывался *Тракаст*. Въ рыцарскихъ и латинскихъ сочиненіяхъ XIV-го столѣтія вездѣ находимъ латинское выраженіе Dux Tracensis, in Tracis, а по-нѣмецки не иначе, какъ Trakken,

Trakin. Въ литовскомъ языкѣ находимъ до нынѣ употребляемое въ простомъ народѣ слово Trakas, что значитъ мѣстность, очищенная отъ березника. Трокскій замокъ также кажется былъ стариннымъ, и можетъ быть до-гедиминовскимъ охотничьимъ дворцомъ. Гедиминъ лишь временно сдѣлалъ его своею резиденціею и только Кейстутъ и сынъ его Витольдъ распространили и сдѣлали достойнымъ мѣстопребываніемъ могучихъ князей.

Въ одной изъ жалованныхъ грамотъ для Трокъ, данной Витольдомъ "Лита Божего нароженія 1384, мисяца Аугуста 23 дня Индикта", читаемъ, что Троки тогда уже, т. е. до принятія Литвою христіанства, были довольно значительнымъ городомъ въ Литвъ; что уже тамъ были христіанскія церкви и что за озеромъ, окружающимъ замокъ и называемымъ Голее, находился королевскій звъринецъ".

Прибавимъ, что въ путевыхъ запискахъ и военнопоходныхъ журналахъ меченосцевъ (Wegeweiser) городъ этотъ постоянно называется Trakken. Но продолжаемъ выписку изъ Стрыйковскаго объ основаніи Вильны (стр. 370—372).

"Гедиминъ повхаль однажды на охоту и на одной изъ горъ, окружающихъ погребальную долину Свинторога, убилъ собственноручно тура, отчего гора донынъ называется "Турьею" (Замковая гора). На томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ убилъ тура и гдѣ нынѣ стоитъ Вильна съ своими замками, онъ видѣлъ во снѣ большого, сильнаго волка, который, какъ крѣпость отъ выстрѣловъ, былъ покрытъ крѣпкою желѣзною бронею, и въ томъ волкѣ слышалъ голоса ста другихъ волковъ, поднимавшихъ ужасный вой, который разносился по всей окрестности. Сонъ этотъ растолковалъ ему Криве-Кривейто, литовскій поганскій епископъ, Лиздейко, который отцомъ Гедимина Витенесомъ (?) былъ найденъ въ орлиномъ гнѣз-

дѣ, въ одной лѣсной пущѣ, при большой дорогѣ, а по другимъ—въ изящной колыбели, повѣшенной на деревѣ въ лѣсу. Этого Лиздейку (отъ lizdas—гнѣздо) Витенесъ воспиталъ при своемъ дворѣ, обучилъ разнымъ наукамъ и наконецъ сдѣлалъ Криве-Кривеймомъ, о чемъ ясно свидѣтельствуютъ: Кромеръ, Мѣховіусъ, Длугошъ, Эразмъ Стелла и Дусбургъ".

Сказка эта выдумана, съ цълью польстить роду Радзивилловъ, родоначальникомъ которыхъ будто бы былъ

Лиздейко.

"Лиздейко такъ объяснить сонъ: тотъ волкъ, котораго ты видъль какъ бы выкованнымь изъ желъза, великій княже Гедимине! значитъ, что на семъ погребальномъ мѣстъ, посвященномъ твоимъ предкамъ, возникнетъ неприступная кръпость и столица этого государства, а сто волковъ, въ томъ волкъ ужасно вывшихъ, голосъ которыхъ разносился во всъ стороны, знаменуетъ, что кръпость и городъ, доблестями и достоинствами своихъ гражданъ, равно великими подвигами потомковъ твоихъ, великихъ князей литовскихъ, которые будутъ имѣтъ здъсь свой престолъ, разгласятся и прославятся во всъхъ странахъ свъта и что вскоръ изъ этой столицы они будутъ повелъвать и другими народами".

Гедиминъ послушался Лиздейку и построилъ на горъ

кръпкій замокъ, а въ долинъ-укръпленный городъ. Сказка эта пережила стольтія и върить ей пере-

стали очень недавно.

Въ Литвъ даже живетъ пословица: "Небылица, какъ о желъзномъ волкъ", или: "Имъетъ о томето такое же понятіе, какъ о желъзномъ волкъ".

Нарбуттъ не отрицаеть, однако, этой сказки, какъ и всъхъ сказокъ Стрыйковскаго. Напротивъ, на стр.

271 говорить:

"Послѣдній первосвященникъ *Лиздейко*, истолковавшій великому князю литовскому Гедимину историческій (!) его сонъ о жельзном вольт, прозорливымъ умомъ своимъ понималъ, что возрастающее въ могуществъ государство, управляемое доблестнымъ и сильнымъ государемъ, должно было имъть неприступную и богатую столицу, для которой сама природа создала мъсто на неприступныхъ виленскихъ горахъ. Гедиминъ, охотясь въ
этихъ горахъ и убивъ тура на горъ, до нынъ "Турьею"
называемою, ночевалъ въ священномъ лъсу долины
Свинторога и тутъ же увидълъ во снъ желъзнаго волка.
При этомъ въ горахъ дъйствительно могли выть волки
и пламенное воображение горячаго охотника могло смъшать дъйствительность съ сновидъниемъ. Слъдовательно,
все способствовало Лиздейкъ для удачнаго пророчества
и склонения Гедимина къ постройкъ города, о чемъ,
быть можетъ, и самъ Гедиминъ помышлялъ прежде".

Выше было сказано, что Гедиминъ основалъ Вильну не на пустомъ, но на обитаемомъ мѣстѣ, давно уже освященномъ нахожденіемъ на немъ языческой святыни. Вѣроятно поэтому лѣтописцы и утверждаютъ, что Вильна существовала еще въ XII вѣкѣ. (Карамзинъ, IV, прим. 103, стр. 45; прим. 277; Длугошъ, IX, 116; Чацкій, I, 8).

По Балинскому (стр. 8) историческая эпоха Вильны начинается съ 1321 года, когда Гедиминъ перенесъ свою столицу изъ Трокъ. Копебу (Preussens aeltere Geschichte, Band II, стр. 353) помъщаетъ письма Гедимина съ 1323 года, въ одномъ изъ которыхъ онъ называетъ уже Вильну столичнымъ своимъ городомъ.

Балинскій описываетъ древнюю Вильну слѣдующимъ образомъ (стр. 111—113):

"Въ глубинт зеленой долины, на послъдней изъ горъ, окружающихъ русло ръчки Вильны, при впаденіи ея въ Вилію, красовалась каменная кръпость, дъло рукъ могучаго Гедимина, защищаемая тремя башнями и высокими стънами. Съ юга замковой горы, между нею и

р. Вильною, лежалъ обширный дворепъ одного изъ знатнъйшихъ магнатовъ литовскихъ *Моннивида;* у подощвы же ея тянулся вдоль Виліи нижній замокъ, называемый Кривим городомо. Важнъйшею частию Кривиго-городи была священная долина Свиниорога, занимавшая самый клинъ пространства между рр. Виліею и Вильною и поросшая древними дубами, среди которыхъ пылалъ неугасаемый огонь (Балинскій также ошибочно называетъ ero Зиши), предметь высшаго почитанія у литовцёвь. Окружала его деревянная стіна святыни, къ которой примыкали жилища поганскаго духовенства. Несколько дальше, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ теперь каоедральный костель, стояль неуклюжій истукань бога громовь, Перкуна, на кремнистомъ постументъ. Въ сторонъ отъ святилица Перкупа возвышалась круглая башня изъ камня и кирпича съ окномъ, изъ котораго въщіе жрецы объявляли народу свои пророчества. Нынашияя колокольня канедральнаго костела была, по льтописцамъ литовскимъ и мъстнымъ преданіямъ, тою именно башнею, съ которой Лиздейко и его предшественники торжественно показывались предъ народомъ, для объявленія ему хорошаго или дурного предсказанія. Однако, на это нъть очевидныхъ доказательствъ.

Весь Кривий-городо окружень быль крыпкими, хотя и деревянными стынами, частоколомь или заборолями и представляль изъ себя крыпость. Рычка Вильна также его окружала: она шла прежде около "лысой" (ныны "крестовой" горы, принадлежащей дворянскому клубу), мимо замковой горы, съ лывой ея стороны, чрезь Ботаническій садъ и нынышнюю Кафедральную площадь и впадала въ р. Вилію. Рядомъ съ этою рычкою, съ запада, проходила рычка Вингеро и также впадала въ Вилію, на той же площади, въ самомъ близкомъ разстояніи отъ устья Вильны. Но Гедиминъ, съ цёлью поднять высоту замковой горы и окружить водою оба

замка, приказалъ прорыть нынѣшнее русло Вильны съ

другой стороны горы.

Ручей, называемый Вингерг (нынѣ Вигры, Венгры, извѣстная часть города), по беззаботности и слабости короля Александра Ягеллоновича, былъ отнятъ отъ города и переданъ въ вѣденіе доминиканскаго монастыря. Отъ этого возникли споры ксендзовъ съ городомъ и продолжались до тѣхъ поръ, пока новый король Сигизмундъ I не повелѣлъ доминиканцамъ уступить этотъ ручей городу въ 1535 году. Доминиканцы, какъ видно изъ акта 1536 года, въ день св. Елены постановленнаго, продали ручей за сто копъ литовскихъ грошей и за 10 пудовъ перцу. Теперь ручей собранъ въ бассейны и водоемы и служитъ для городского употребленія. (Валинскій, ч. ІІ, стр. 78).

Прежде, чёмъ указать, гдё именно находились древнеязыческія литовскія капища, необходимо доискаться, почему отъ нихъ не остадось никакихъ слёдовъ?

Балинскій, въ І ч., на стр. 121, пишетъ:

"Не только кабедральный костель ст. Станислава въ Вильнѣ, на что, кромѣ свидѣтельствъ лѣтописей, имѣются доказательства въ подлинной буллѣ Урбана VI, выданной на предметъ освященія его, но мы увѣрены, что и другіе костелы, основанные въ Вильнѣ Владиславомъ Ягайлою, воздвигнуты на мѣстахъ, посвященныхъ какому нибудь поганскому почитанію, такъ какъ было всеобщимъ правиломъ въ первоначальной христіанской перкви, при крещеніи поганъ, тамъ устраивать храмы истинной вѣры, гдѣ прежде возносились языческія святыни, или тамъ, гдѣ были священныя рощи, деревья, камни или хотя бы и чистыя мѣста, но почему либо почтенныя вѣрованіемъ народа. Папа святой Григорій въ особенности это приказывалъ, какъ видно изъ посланія его къ св. Августину, апостольствовавшему на Британскихъ островахъ. Онъ писалъ: "Христіане не должны

быть слишкомъ ретивы въ истребленіи святынь языческихъ, но должны только низвергать истуканы ихъ боговъ, окроплять святою водою, воздвигать алтари и помѣщать на нихъ частицы святыхъ мощей. Ежели эти святыни построены прочно, то нужно въ нихъ перемѣнить только предметы боготворенія и злого духа замѣнить изображеніемъ истиннаго Бога и то для того, чтобы народъ, видя, что его святости уничтожены, добровольно отказывался отъ своихъ заблужденій, а познавалъ и восхвалялъ истиннаго Бога въ мѣстахъ, къ которымъ привыкъ и на которыя собирался охотнѣе". ("Historia Ecclesiastica gentis Anglorum Venerabilis Bedae Presbitéri", стр. 42 ed. 1366 года).

Кажется, другихъ причинъ отыскивать не нужно.

Вильна, разросшаяся чрезвычайно быстро, имѣла впослѣдствіи нѣсколько языческихъ храмовъ. Изъ нихъ самый знаменитый, просуществовавшій до послѣднихъ дней язычества, былъ посвященъ *Перкуну*. Іоаннъ-Фридрихъ Ривіусъ въ своей "Хроникѣ" описываетъ виленское *Ромнове* слѣдующимъ образомъ:

"Въ Вильнъ, гдъ теперь находится каоедральный костель, быль въ древности дубовый лъсъ, посвященный языческимъ богамъ, на томъ самомъ мъстъ, гдъ Вилейка впадаетъ въ Вилію; тутъ же у лъса былъ большой храмъ Юпитера-громовержца или Перкуна, т. е. бога громовъ, построенный княземъ Гереймундомъ (Гермунтомъ), въ 1265 году, изъ камня. Длина его была 150, ширина 100 и высота стънъ 15 локтей. Но надъ нимъ кровли не было; единъ только входъ со стороны большой ръки велъ въ него. При стънъ, находившейся противъ входа, была каплица (родъ часовни), которая заключала въ себъ разные ръдкіе и драгоцънные священные предметы. Подъ нею былъ склепъ (пещера, гдъ содержали священныхъ ужей, змъй, жабъ и другихъ пресмыкаю-

щихся. Надъ каплицею возвышалась башня, которая превосходила высоту стънъ на 16 локтей. Въ самой башнь стояль деревянный истукань бога, принесенный изъ священныхъ лъсовъ Полунги (?). Каплица и башня были изъ кирпича. Предъ каплицею быль воздвигнутъ алтарь на 12 ступеняхъ, каждая въ ½ локтя высоты и З локтя ширины и обнесенъ оградою; алтарь же имълъ 3 локтя высоты и 9 квадратныхъ локтей ширины; сверху украшало его множество зубровыхъ роговъ. Каждая изъ ступеней была посвящена отдёльному знаку зодіака и на нихъ жертвенные огни нылали пом'всячно, съ того дня, какъ солнце вступало въ извъстное созвъздіе, повышаясь или понижаясь. Такимъ образомъ, высшая ступень была Рака, а низшая Козерога. На ступеняхъ, однако, настоящая жертва не сжигалась (какъ думали), а только фигуры, сдёланныя изъ воску, какъ напримъръ люи, джи. На самомъ же алтаръ сожигали животныхъ въ нѣкоторые праздничные дни. На немъ пылаль неугасаемый день и ночь огонь, который стерегли особо-назначенные для того жрецы. На немъ, на срединъ, была устроена впадина такъ искусно, что ни ливень, ни сибгь, ни вътеръ не могли потушить огонь; напротивъ, въ такихъ случаяхъ пламя взвивалось еще выше, чему, в роятно, способствовали горючіе матеріалы. У входа въ святилище былъ дворецъ Креве-Кревейто, что значить первосвященникъ. Дворецъ имъль круглую башню, съ которой наблюдали движенія солнца и по этому наблюдению возжигали на ступеняхъ алтаря огни, возв'вщавшіе наступленіе перваго дня м'єсяца, а кирпичъ, отмъченный особымъ знакомъ, вмазывался въ ствну башни въ началв каждаго года и служилъ для лътоисчисленія. Одна старинная легенда, находящаяся у Митрофаніуса изъ Пинска (?) въ его Annal. Ruthenien, свидътельствуетъ, что когда князь Гереймундъ вадумаль строить этоть храмь, то отець его Свинторого, въ 1263 году, еще за два года до начала постройки, послаль большое посольство къ прорицательницъ ръки Нъмана (?) на Жмуди съ вопросомъ, какая судьба ждетъ святыню? Сивилла объщала ей существование до последнихъ дней самого язычества, причемъ приказала сдёлать 122 круглыхъ кирпича и каждый изъ нихъ отмътила мистическими знаками, предсказывавшими хорошій или дурной годъ; но на последнемъ кирпиче быль изображенъ знакъ двойного креста. Этотъ кирпичъ былъ подаркомъ князю отъ проридательницы и знакъ его включенъ въ государственный гербъ древней Пруссіи. Но другіе объясняли, что съ наступленіемъ времени задълки въ ствну последняго кирпича наступитъ паденіе язычества и разрушение христіанами самаго храма. Эти кирпичи еще можно видъть въ большей ихъ части въ нижней половинъ каеедральной колокольни съ южной стороны, верхняя половина которой надстроена тремя осмиугольными этажами посль пожара въ 1399 году. Кирпичи эти не заслуживають теперь такого вниманія, какимъ пользовались они въ старину; достойно, однако же, замъчанія то, что въ 1387 году, въ понедъльникъ "Вълой недъли", когда началось разрушеніе храма, въ стѣнѣ его находились 121 кирпичъ Сивиллы". (Виленскій Еженедолиник (Тудодпік). 1816 г., № 60).

Нарбуттъ возражаетъ противъ этого на стр. 230,

говоря:

"Виленская святыня была изъ рода святынь огня, извъстныхъ у древнихъ грековъ подъ именемъ Pyrathea или Pyrea, которыя всегда были безъ крышъ и состояли изъ алтарей, окруженныхъ стънами. Слъдовательно, тотъ алтарь, о которомъ говоритъ авторъ, былъ *илтаремъ впунаго огня* и на немъ никакія жертвы сожигаемы быть не могли. Върнъе же ръчь идетъ о ступеняхъ, ведущихъ къ отдъльнымъ жертвенникамъ, которые должны были устраиваться съ одной только стороны, т. е. со

стороны башни, дабы сожжение жертвъ производилось предъ лицемъ боговъ. Вашня эта и была собственно adytum, въ которой, однако, находились кумиры не одного *Перкуна*, но и другихъ боговъ" (?).

Выше мы видъли, что Балинскій сомнѣвается, чтобы виленская колокольная башня, стоявшая будто бы въ сторонѣ отъ святилища, была тою именно башнею, съ которой *Креве-Кревейты* торжественно показывались народу и объявляли ему волю боговъ.

Сомнѣніе туть едва ли можеть быть чѣмъ нибудь оправдано. Самая башня, по неуклюжей и грубой формѣ своей, видимой до нынѣ, не годилась ни для какого другого употребленія: для храма и даже для жилья она была слишкомъ мала, для алтаря Перкуна, или для вѣчнаго огня—слишкомъ громадна; притомъ построена была въ формѣ какого то мѣшка, съ одною маленькою дверью, и потому предположенія, что въ ней хранились разныя религіозныя драгоцѣнности и сокровища храма и что она служила жрецамъ для бесѣдъ съ народомъ отъ имени боговъ, заслуживаетъ полной вѣры.

Нарбутть, однако, противоръчить самъ себъ, называя эту башню adytum, т. е. языческимъ sancta sanctorum, входъ въ который воспрещался подъ страхомъ смерти. Для этого башня была слишкомъ мала, такъ какъ, по описанію самого же Нарбутта, adytum состояло изъ каменной стъны, окружавшей священный дубъ, алтари и истуканы разныхъ боговъ, а также въчный огонь. Самая башня не могла стоять внутри adytum, потому что туда народъ не допускался, но, безъ сомнънія, находилась въ одной изъ священныхъ стънъ и выходила лицевою стороною на площадь, доступную народу. Иначе башня не могла бы называться Зиниче—мъсто прорицанія.

Такимъ образомъ, виленское *Ромнове* существовало дъйствительно и имъло характеръ друидскихъ храмовъ.

Круглый низъ каеедральной колокольни, двухъ-ярусный, еще до половины нынѣшняго столѣтія сохранялся въ его первобытной, безъискуственной простотѣ, со всѣмъ своимъ безобразіемъ и несимметричностью узкихъ, какъ бойницы, разбросанныхъ на разной высотѣ, оконъ; это то безобразіе и составляло всю историческую цѣнность зданія. Но кому то захотѣлось уничтожить этотъ памятникъ сѣдой старины и прорубить окна симметрично, по шнуру.

Разсмотримъ другіе языческіе храмы въ Вильнъ.

Стрыйковскій (ч. І. стр. 373) пишеть:

"Выла еще на *Антоколь* (въ г. Вильнѣ) огромная зала или кумирная всѣхъ боговъ, которыхъ Литва, по чертовскому навожденію, чтила. Тамъ всегда по четвергамъ съ вечера жрецы жгли восковыя свѣчи".

Балинскій *(ч. І, стр. 115)* такъ описываеть *Ан*токоль.

"На Антоколю, гдѣ теперь костель св. Петра, также была какая то поганская святыня, деревянная, посвященная всѣмъ литовскимъ богамъ. Названіе Антоколя, если бы мы выводили его, какъ нѣкоторые хотять,
отъ латинскаго, производилось бы отъ апте—предъ и
collis—холмъ, такъ какъ расположенъ онъ подъ горами.
Но мѣсто, гдѣ была святыня литовская, съ давнихъ
поръ должно было имѣть названіе литовское, а не латинское. Антоколь названъ такъ отъ литовскаго выраженія апт-to-kalna, что значить на той горт, или отъ
апт-ракаlnes—на долинѣ, смотря по тому, какъ тотъ,
кто первый далъ названіе, взглянулъ на Антоколь: плывущему по Виліи онъ кажется лежащимъ на высокой
горѣ, а съ берега рѣки кажется положеннымъ на равнинѣ, у подошвы лѣсистыхъ горъ. Впрочемъ, названіе
Антоколь въ началѣ, вѣроятно, было дано только тому
мѣсту, на которомъ стояла поганская святына, а не

нынѣшнему предмѣстью, которое возникло только во времена христіанства. А что означенная святыня, съ принадлежавшими къ ней строеніями, дѣйствительно существовала тамъ, гдѣ нынѣ костелъ св. Петра, т. е. на возвышенностяхъ, доказывается тѣмъ, что древніе литовцы это собственно мѣсто и называли ant-to-kałna—на той горѣ.

Кояловичь въ "Histor. Lituan.", часть II, кн. I, стр. 11, говоря объ Антоколь, пишетъ: "quem locum vulgari lingua Anticalnie, id est antemontanum dicimus," что вполнъ соглашается съ нашими доводами. Въ Виленскомъ уъздъ есть нъсколько урочищъ, называемыхъ Антоколь, и всъ они лежатъ или на горахъ, или на ихъ покатостяхъ".

Нарбутть (стр. 230) увъряеть, что въ Вильнъ на Антоколъ были двъ языческія святыни: одна, подъ крышею, посвященная всъмь богамь, родъ литовскаго Пантеона, находилась тамъ, гдъ теперь дворецъ князей Сапътовъ, занятый подъ военный госпиталь. Изъ архивовъ этого княжескаго рода, находящихся въ Деречинъ, Нарбуттъ вычиталъ, что четырехъ-угольное строеніе это сооружено на развалинахъ прежняго языческаго четырехъ-угольнаго же зданія. Описаніе этого храма для потомства не сохранилось; но должно полагать, что въ немъ была коллекція истукановъ всъхъ боговъ. Другой языческій храмъ, въ честь богини любви Мильды (или только алтарь ея), находился въ саду Гедимина, тамъ, гдъ нынъ костель св. Петра, также на Антоколю.

Въ "Трудахъ московскаго археологическаго общества" (Древности), вып. 2, Москва 1867, Киркоръ, въ статъъ Антоколь, преклоняясь предъ Нарбуттомъ, также говоритъ, что литовская Валгалла или Пантеонъ былъ на томъ мъстъ, гдъ теперь военный госпиталь; что дзъ развалинъ этого храма въ XVII стольти князь Сапъга

построилъ палаты въ прекрасномъ готическомъ стилѣ и что костелъ св. Петра построенъ на мѣстѣ капища богини Мильды. Въ "Извѣстіяхъ же Ими археологобщ.", т. І, Спб. 1859, говоритъ о Пантеонѣ слѣдующее: "У меня есть рисунокъ, изображающій этотъ Пантеонъ. Подлинный рисунокъ сдѣланъ въ минувшемъ столѣтій архитекторомъ Росси и нынѣ находится, кажется, въ Щорсахъ у графа Хребтовича; но Росси нарисовалъ этотъ храмъ, руководствуясь описаніемъ его въ старинной рукописи, находившейся у двухъ профессоровъ виленскаго университета. Гдѣ теперь эта рукопись неизвѣстно.

Жаль, что Киркоръ не приложилъ къ своей статът этого любопытнаго рисунка! Видно и архивы Сапътовъ въ Деречинъ неполны, когда Нарбуттъ не могъ, съ своей стороны, найти въ нихъ ничего подобнаго.

Людвигъ изъ Покевья (Юдевичъ) говоритъ (стр.

Людвигь изъ Покевья (Юцевичь) говорить (стр. 229), что костель св. Петра построенъ Михаиломъ-Казиміромъ Пацомз для ксендзовз-канониковз латеранских (lateranensis), на мъстъ бывшаго литовскаго Пантеона, причемъ ошибочно ссылается на Нарбутта, который вовсе этого не утверждаетъ.

Но гдъ же именно быль Литовскій Пантеонъ: на мъстъ ли ныньшняго военнаго госпиталя, или гдъ кос-

телъ св. Петра?

Стрыйковскій, Грибовскій (глав. XI, стр. 90), ксендзъ Карповить въ проповъди 29 іюня 1788 г. (Вильна академическая типографія) и другіе польскіе писатели доказывають, что костель св. Петра во времена Ольгерда (который, по вліянію своей супруги Маріи, княжны тверской, будто бы также приняль св. крещеніе) построилъ предъ 1330 годомъ Петръ Гастольдъ (Gastowd), воевода виленскій, принявшій христіанство и самъ вступившій впослъдствіи въ францисканскій ордень, на мъсть прежней языческой святыни, посвященной всъмъ богамъ, на подобіе римскаго Пантеона", и

назвалъ его своимъ именемъ Петра и что Гастольдъ собственноручно, противъ дверей костела, посадилъ липу, которая была въ крѣпкомъ состояніи еще въ 1621 году и превышала главы самаго костела, почему и называлась гастольдовою липою. Но М. Балинскій категорически отвергаетъ годъ основанія костела, потому что Ольгердъ, повелитель общирныхъ языческихъ земель, не могъ уничтожать храмовъ господствовавшей тогда языческой религіи. Онъ только толерировалъ христіанство; но моментъ разрушенія культа Перкуна былъ еще далекъ. Слѣдовательно, Ольгердъ не могъ допустить замѣны языческихъ храмовъ христіанскими церквами, но вѣрнѣе—построилъ церковь св. Петра, въ память отца, сынъ Гастольда, во времена Ягеллы и посадилъ "липу Гастольда".

Чтобъ придти къ окончательному заключенію, гдѣ именно находился Пантеонъ всѣхъ литовскихъ боговъ, нужно принять во вниманіе слѣдующее:

Стрыйковскій не указываеть міста этого храма и говорить глухо—на Антоколь, Гржибовскій, Карповичь, Балинскій, Юцевичь и другіе писатели категорически утверждають, что эта Валгалла находилась на містів нынішняго костела св. Цетра; только Нарбутть и Киркоръ переносять ее на місто сапіжинскаго дворца, а основаніемь костелу св. Петра дають капище Мильды, находившееся въ гедиминовскомъ саду; но Киркоръ не авторитеть, а компиляторь и безусловный поклонникъ Нарбутта; Нарбутть же, во всей минологіи своей, сказаль мало правды.

Прунау, нёмецкій монахъ изъ Толкемить, Стрыйковскій, жмудскій каноникъ и Ласицкій, протестантскій пасторъ изъ Лыкъ, въ хроникахъ своихъ, распространили о литовской минологіи зав'єдомо-ложныя св'єд'єнія и въ продолженіе трехъ в'єковъ держали ученый міръ въ заблужденіи. Нарбутта обвиняетъ нов'єйшая исторія

въ томъ, что онъ не только не очистилъ критикою означенныя свъдънія, но подобострастно повториль ихъ и даже поддержалъ разными (впрочемъ, весьма неудачными) доводами ту ложь, въ которой сами авторы иногда сомнъвались. Поэтому профессоръ Мержинскій въ одномъ изъ писемъ къ автору настоящаго сочиненія говорить, что "какъ Грунау для нъмецкихъ, такъ Нарбуттъ для польскихъ молодыхъ писателей были истиннымъ несчастіемъ". Не говоря о Киркоръ, Нарбуттъ погубилъ и Крашевскаго. Последній, на зыбкомъ основаніи, т. е. на въръ въ Нарбутта, построилъ три прекрасныя поэмы: "Вителерауда", "Миндовсъ" и "Вительдовы битвы", носящія общее названіе "Анафьелась", гора блаженства, рай. Поэмы эти потому именно, что онъ прекрасны и написаны звучнымъ поэтическимъ языкомъ, и принесли неисчислимый вредъ: онъ воспъваютъ несуществовавшій литовскій Олимпъ. Весь образованный міръ, кому доступна поэзія Крашевскаго, увлекся ими, изучиль ихъ и увъровалъ въ существование боговъ, придуманныхъ досужими писателями. Въра эта, виъстъ съ поэмами, переходить изъ поколенія въ поколеніе и утверждаеть въ умахъ превратныя понятія объ истинной сторонъ дъла, критические же разборы древненародныхъ върованій, по недоступности и непопулярности ихъ, знакомы не всякому.

Храмъ или только алтарь богини Мильды, по обыкновенію, устраивался въ лѣсной глуши, какъ былъ устроенъ въ Ковнѣ, въ лѣсахъ Алексоты. Слѣдовательно, и на виленскомъ Антоколт могло быть избрано для ея алтаря (едва ли для храма?) то лѣсистое и уединенное мѣсто, которое занялъ впослѣдствіи князь Сапѣга. Мѣсто же, на которомъ сооруженъ костелъ св. Петра, какъ открытое, болѣе близкое къ долинъ Святорога, къ храму Перкуна (Ромнове) и къ замку Гедимина, и тѣмъ болѣе, ежели правда, что оно находилось въ Гедиминовомъ саду, скорѣе пригодно было для сооруженія Пантеона всѣмъ богамъ.

Изъ всего сказаннаго слѣдуетъ, что Пантеонъ существовалъ на томъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ костелъ св. Петра, а алтарь *Милъды*, гдѣ въ настоящее время военный госпиталь.

Костель этоть построень, какъ сказано выше, Михаиломъ-Казиміромь Нацомя, по уменьшенному образцу римскаго храма св. Петра. На фронть его, подъ барельефнымъ бъло-мраморнымъ образомъ Божіей Матери "Латеранской" ("Lateranensae") сдълана надпись, перефраза фамиліи Паца: "Regina pacis funda nos in расе" (Царице міра, утверди насъ въ мирѣ). Ежегодно 29 іюня въ этомъ костель бываетъ храмовой праздникъ, привлекающій много тысячь народа, который, по окончаніи богослуженія, гуляеть на окрестныхъ горахъ и съ пъснями ищетъ прътковъ "ключей св. Петра" (primula officinalis). Но обычай этотъ совсьмъ нехристіанской эры, а сохраняется со временъ язычества, такъ какъ и самая пъсня обращается не къ св. Петру, а къ божку Дидису.

Продолженіемъ долины Селторога и ея святынь, по тому же Валинскому (стр. 113), служило предмѣстье Лукишки, на которомъ находился лѣсъ, посвященный богамъ. Оно лежитъ на берегу р. Виліи и теперь изъ священнаго лѣса не осталось ни одного дерева. Названіе свое получило оно отъ литовскихъ словъ: лаукасстоле и кишасс-смѣжный, пограничный; сначала эту мѣстность называли Лаукай-кишасс-уписс—поля, примыкающія къ рѣкѣ; а съ теченіемъ времени названіе преобразилось въ Лукишки. Стрыйковскій опибочно производить это названіе отъ литовскаго будто бы слова лаукосс—лѣсъ. Вѣроятно, эта часть города получила названіе Лукишекъ тогда, когда о священномъ лѣсѣ и помину уже не было. Теперь на Лукишкахъ самая боль-

тая торговая площадь и на сѣверной ея сторонѣ находятся костель и госпиталь св. Якова.

При Ягайлъ и Ядвигъ началось крещеніе литовскаго народа; всъмъ крестивнимся была раздаваема одежда изъ бълаго сукна. Тогда же торжественно погашенъ въчный огонь, вырублены священные лъса, разрушено святилище Перкуна съ въчно-зеленымъ его дубомъ и на томъ же мъстъ приступлено къ сооруженію нывъшняго каоедральнаго костела св. Станислава (Балин., ч. 1-я, стр. 117).

На томъ мѣстѣ, гдѣ теперь костелъ св. Іоанна, заложенный въ 1386 году, также была какая-то поганская святыня. (Тамъ же. стр. 114).

О церкви св. *Параскеви-пятници*, сооруженной на мѣстѣ капища бога *Рагутиса*, скажу послѣ.

На замковой горъ былъ костелъ св. Мартина, построенный также на мъстъ какого-то языческаго храма, но онъ былъ разрушенъ и заброшенъ еще въ XVI-мъ стольтіи. Упоминаетъ объ этомъ и Стрыйковскій, въ I-й ч., на стр. 479: "Теперь, какъ видимъ, обрушился и упаль; только слъды раскрашенной стъны и развалины склеповъ замътны со стороны лысой горы" ("Крестовая гора")-

Другихъ церквей и костеловъ, воздвигнутыхъ не на развалинахъ языческихъ храмовъ, не касаемся здѣсь, потому что пишемъ не исторію виленскихъ христіанскихъ храмовъ.

О замковой виленской горт выписываю изъ Валин-

скаго (прим. къ стр. 10) еще слъдующее:

"Полагаемъ, что замковая гора первоначально была небольшою возвышенностію въ цѣпи горъ, окружающихъ русло Виленки. Послѣдняя прежде впадала въ Вилію по сю сторону горы, но Гедиминъ, сооружая замокъ руками плѣнниковъ, захваченныхъ на Руси, прорылъ новое, существующее нынѣ, русло для Виленки, какъ для того, чтобы землю, отсюда добытую, употребить на под-

нятіе профиля замковой горы, такъ и для того, чтобы окружить водою самую гору, потому что въ тѣ времена старались окружать водою всѣ замки. На Подлясьи до нынѣ сохранилось воспоминаніе, что въ очень отдаленные отъ насъ вѣка народъ ходилъ оттуда въ Вильну копать горы. Догадка наша, что замковая гора въ значительной части ея не природная, а искуственная, подтверждается какъ самымъ видомъ и формою горы, такъ и позднѣйшею катастрофою съ нею, во времена Витольда".

О катастрофѣ съ замковою горою извѣстно изъ сохраняющагося въ тайномъ кенигсбергскомъ архивѣ подлиннаго донесенія динабургскаго командора (комтура) къ великому магистру ливонскаго рыцарскаго ордена. Донесеніе адресовано изъ Ликсны, во вторую недѣлю по Воскресеніи Христовомъ, въ 1396 году. Комтуръ упоминаеть объ обвалѣ горы какъ бы вскользь, между прочимъ, именно:

"Доносять мив также, что гора, на которой лежить верхній замокь, осунулась, по причинв засужи. Осыпалась она на дворець Моннивида и произвела тамъ большое разрушеніе; его подчашій и экономка засыпаны; засыпала гора и всв его драгоцвиности. Самъ также погибъ бы, если бы происшествіе случилось не днемъ. Но обвалилась только гора, а каменныя ствны остались въ цвлости".

Въ Вильнъ есть часть города, называемая Бикшта. Нарбутть, на стр. 232, говорить, что этимъ именемъ называлось укръпленіе или только замокъ, слъды котораго остались еще у развалинъ древней городской стъны, видимой на горъ; мъстность эта принадлежить больницъ "Младенца Іисуса".

Тутъ рѣчь идетъ о томъ первоначальномъ, до-исто-рическомъ замкѣ, о которомъ было говорено выше.

"Подъ всею этою горою, пишеть далье Нарбутть, идуть длинныя подземныя галлереи, выстроенныя изъ кирпича очень прочно, съ залами, комнатами, корридорами, которые тянутся различными изгибами и въ разныхъ направленіяхъ и конецъ ихъ не изслъдованъ до настоящаго времени. Эти подземелья соединялись съ однимъ небольшимъ таинственнымъ канищемъ, находивнимся въ самой Бакштъ".

І. Ф. Ривіусъ находить солидарность между этими подземельями и такими же подземными ходами въ г. Трокахъ, отстоящихъ отъ Вильны въ 26 верстахъ. Онъ говоритъ:

"Троки, одинъ изъ древнвишихъ городовъ Литвы, назывался прежде Ghurgani. Городъ славился своими укрвпленіями, храмами и превосходнвишими зданіями. Въ XIII стольтіи между ними особенно отличалась святыня Альтамба (въроятно таинственнаго бога Атлай-боса), съ большими сооруженіями и подземельями, необходимыми для дивныхъ и неразгаданныхъ обрядовъ литовскаго язычества".

Далъе, Ривіусъ разсказываетъ подробно о томъ, какъ еще въ XI стольтій русскіе, распространяя власть свою въ Литвъ, должны были построить кръпость Троки, на мъстъ дер. Гургани, потому что тогда кръпостей въ Литвъ не было, а Керновъ не могъ считаться кръпостью, но былъ только укръпленнымъ лагеремъ; какъ русскіе правители собирали съ литовцевъ, въ пользу кіевскаго князя, дань изъ лъсныхъ произведеній (въниковъ и лыка); какъ Гедиминъ построилъ Новые Троки, послъ разрушенія Старыхъ Трокъ, соединенными силами литовскихъ и тевтонскихъ рыцарей (Schwerdt-Herren), подъ начальствомъ прусскаго комтура Готфрида... (очевидное противоръче Стрыйковскому) и продолжаетъ:

"Вильна и Троки составляли какъ бы одинъ городъ: виленцы въ Трокахъ и торочане въ Вильнъ имъли дома и родственниковъ, вмѣстѣ соблюдали праздники и исполняли языческіе свои обряды. А какъ Вильна сдѣлалась столицею Литвы и пользовалась сравнительно лучшими преимуществами, по причинѣ сплавности ея рѣкъ, то, въ ущербъ Трокамъ, увеличило ростъ своего народонаселенія, такъ что впослѣдствіи Троки, еслибы не имѣли крѣпости и княжескихъ замковъ, могли бы считаться простою деревнею. При такомъ положеніи обоихъ городовъ и въ Вильнѣ сооруженъ храмъ Альтамба, празднества котораго совершались въ Трокахъ 8-го, а въ Вильнѣ 15-го сентября ежегодно. Празднества эти совершались съ какою то особенною обстановкою и торжественностію и потому привлекали множество народа изъ Литвы, Жмуди, Пруссіи, Курляндіи и Руси, причемъ происходили ярмарки съ мѣновою торговлею и разныя религіозныя процессіи изъ одного города въ другой".

Нарбутть, подтверждая существованіе капищь таинственнаго бога Атлайбоса, какъ въ Вильнь, такъ и въ Трокахъ, съ одинаковыми въ обоихъ городахъ подземными ходами, предоставляетъ будущимъ археологамъ изследовать подземелья подъ Бакштою и трокскимъ замкомъ, причемъ, быть можетъ, откроются и самыя капища и узнаются хотя отчасти тайны бога Атлайбоса или Альтамба (Нарб. I, стр. 235).

Киркоръ въ "Матеріалахъ для Археологическаго словаря" (Древности). Вып. 2. Москва, 1867, стр. 28, называетъ капище этого бога Атламбой (стало быть, не Альтамба и не Атлайбост) и описываетъ подземелье со словъ хроники Ротунда, приводимой будто бы Нарбуттомъ; но Нарбуттъ основывается, какъ видъли мы выше, не на хроникъ Ротунда, а на запискахъ І. Ф. Ривіуса. Между тъмъ, ни Ривіусъ, ни Нарбуттъ, ни Киркоръ не умъли не только объяснить значеніе этого божества, но даже и назватъ его правильно, а потому выбрали самый легкій исходъ: причислить его,

такъ же какъ и нъсколько другихъ непонятныхъ имъ боговъ и даже просто названій, не им'вющихъ смысла, къ числу таинственных божествг. Киркоръ говорить далье, что народное предание и до сихъ поръ приписываеть много таинственнаго этому подземелью, которое простиралось будто бы до Трокъ. Легенда говорить, что тамъ жили злые духи, увлекавние непостижимою силою людей въ это подземелье, гдв они и погибали. Иванъ Сковронскій, описывая пожаръ Вильны 1610 года, разсказываетъ извъстную сказку о Василиски, который будто бы жилъ въ этомъ подземельи и взглядомъ своимъ убивалъ людей, входившихъ туда; но нашелся одинъ смълый человъкъ, который вошель туда, неся предъ собою большое зеркало; чудовище, какъ только увидало себя въ немъ, было поражено собственнымъ взглядомъ, отражаемымъ въ зеркалъ, и издохло. Въ концъ прошлаго и въ началъ нынъшняго столътій здъсь скрывались разбойники, которые нападали на прохожихъ и грабили ихъ. Подземельемъ этимъ еще въ 1812 году можно было пройти съ полверсты. Входъ въ подземелье, на глухо заложенный, существуеть до сихъ поръ.

Нарбутть цравъ, говоря, что не мѣшало бы археологическому обществу заняться, для пользы науки, изслѣдованіемъ этого подземелья.

Но и замковая гора также имъетъ неизслъдованныя до нынъ подземелья. Тотъ же Киркоръ, въ "Запискахъ Имп. археол. общ." т. VII, Спб., 1856, на стр. 104, говоритъ о замковой горъ слъдующее, и мы не имъемъ повода ему не довърять:

"Гедиминъ, одновременно съ основаніемъ виленскихъ замковъ, соорудилъ на горѣ и какой то языческій храмъ. При Ольгердѣ, одна изъ благочестивыхъ супругъ его устроила тамъ же православную часовню, а Ягайло, принявъ католическую вѣру въ Краковѣ, на развалинахъ древняго языческаго храма воздвигъ костелъ св. Мар-

тина. Замковая гора имвла подземный ходъ, устроенный въ родъ лъстницы со ступеньками, который велъ на востокъ къ ръчкъ Виленкъ. Великій князь литовскій Явнутъ (1339), сынъ Гедимина, послъ смерти матери своей Евы, когда на него напали братья его Ольгердъ и Кейстуть и овладели замками, бежаль этимъ потаеннымъ ходомъ на Антоколо. Въ это подземелье, нъсколько лъть тому назадъ, случайно открылось на самой замковой гор'я отверстие. Находившийся при этомъ одинъ изъ инженерныхъ офицеровъ спустиль въ обвалъ человъка на ремняхъ, но онъ не могъ выдержать удушливаго воздуха и его тотчасъ вытащили; тоже было и съ другимъ; наконецъ, третій, пошаривъ вокругъ себя, началь выбрасывать на верхъ разныя вещицы; ихъ было пять. Киркоръ поименовываеть эти вещицы и считаеть ихъ литовскими идолами; при разсмотрении же этихъ "идоловъ" на кіевскомъ археологическомъ събадѣ, Мфржинскій, Головацкій и др. признали ихъ ручками отъ дверей, ефесами отъ шпатъ, римскаго издёлія.

Отверстіе было зарыто, вещи остались у инженера, а по смерти его пріобр'єтены мною. "

Восточная часть замковой горы была мъстомъ погребенія великихъ князей литовскихъ.

## XII. ГЕДИМИНОВА ГОРА

въ Вильнъ.

О городищѣ *Веллонп* Нарбуттъ, на стр. 56 части **1-й** Литовской исторіи, говоритъ:

"Вогиня Веллона имъла извъстное (?) свое святилище (храмъ) въ городкъ, донынъ называемомъ Веллоною. Теперь это незначительное мъстечко и находится на правомъ берегу р. Нъмана, въ 5-ти миляхъ отъ Юрбурга. Въ древности тамъ была сильная кръпость, построенная на горъ и раздъленная на два городища широкимъ рвомъ. Въ этой то кръпости и было капище Веллоны.

Въ началѣ XIV стольтія меченосцы аттаковали крѣпость и когда взять ее не могли, то возвели противъ нея два укрѣпленія: Фридбурга и Баерия, послѣднее въ честь князя Баварскаго, принимавшаго участіе въ аттакѣ. Великій князь Гедиминъ, въ 1329 (?) году, при штурмѣ одного изъ этихъ замковъ, былъ убитъ выстрѣломъ изъ какого-то огнестрѣльнаго оружія. Тѣло его было сожжено въ Вильнѣ, куда онъ перенесъ столицу свою изъ Трокъ въ 1322 году".

Очевидно, Нарбутть годъ смерти Гедимина основываетъ на Стрыйковскомъ, который поспѣшилъ убить Гедимина въ 1329 году, тогда какъ онъ появляется на сценѣ далеко позднѣе.

М. Балинскій, въ 1-й части "Исторіи города Вильны", стр. 19, говорить, что Гедиминь убить подъ замкомъ Ваербургомъ, въ одной милѣ отъ Веллоны, въ 1337 году, стало быть 8-ю годами позже. Киркоръ, въ "Историческомъ путеводителѣ по Вильнѣ" (Вильна, 1880, стр. 272), говоря о виленской "Гедиминовой могили", свидѣтельствуетъ также, что Гедиминъ убитъ въ битвѣ съ меченосцами подъ Веллоною въ 1337 году и присовокупляетъ: "Дѣйствительно ли тѣло Гедимина привезено въ Вильну и здѣсь предано погребеню, исторія молчитъ; но пяти-вѣковое преданіе говоритъ громче исторіи; вѣра же въ то, что Гедиминъ погребенъ именно въ этой могилѣ, переходитъ изъ поколѣнія въ поколѣніе".

Въ другомъ мѣстѣ, именно въ "Матеріалахъ для археологическаго словаря" (Древности. Труды моск. археол. общ. Т. І, вып. 2, Москва, 1867, стр. 35), Киркоръ говоритъ: "Гедиминовихъ горъ двѣ: одна въ Вильнѣ, а другая подъ Веллоною. Виленскую гору называютъ могилою Гедимина и старинные писатели. Въ одной рукописи XV столѣтія, подъ заглавіемъ: "De Veteribus Tumilis vulgo kurhani num Kupatis" описано преданіе объ этой могилѣ. Д. Наборовскій, въ посланіи къ князю Янушу Радзивиллу, 18 сентября 1729 года, говоритъ тоже про Гедиминову гору. Стрыйковскій, хотя и отибается относительно года смерти Гедимина, доказываетъ, однако, что прахъ этого государя, послѣ смерти въ битвѣ при Веллонѣ, былъ привезенъ въ г. Вильну и сожженъ въ долинѣ Свинторога (нынѣщняя Каведральная площадь), вмѣстѣ съ тремя взятыми въ плѣнъ рыцарями и что сыновья заблаговременно приготовили ему мѣсто вѣчнаго упокоенія. Въ Веллонѣ же и окрестныхъ мѣстахъ народное преданіе оспариваетъ прахъ Гедимина, утверждая, что онъ сожженъ на мѣстѣ убіенія, т. е. въ Веллонѣ. Кажется, вопросъ легко разрѣшается, допустивъ мысль, что на мѣстѣ убіенія великаго князя, въ память его, былъ насыпанъ курганъ, сохранившій доселѣ его имя; что прахъ его дѣйствительно былъ привезенъ въ основанную имъ столицу, сожженъ на долинѣ, избранной для этой цѣли княземъ Свинторогомъ за 69 лѣтъ предъ тѣмъ и что, по современному тогдашнему обычаю, надъ прахомъ его насыпанъ большой курганъ. На вершинѣ кургана находится донынѣ небольшая круглая площадка, съ замѣтнымъ посрединѣ углубленіемъ".

Крашевскій, хотя еще менѣе могущій считаться авторитетомъ, нежели Киркоръ, какъ раболѣнно повторяющій Стрыйковскаго и Нарбутта, также говоритъ въ "Исторіи Вильны" (ч. І. стр. 32), что съ тѣломъ Гедимина въ Вильнѣ, въ долинѣ Свинторога, сожжены живьемъ три плѣнные рыцаря, верхомъ на коняхъ, въ полномъ боевомъ вооруженіи.

Стало быть, это шестой авторъ утверждаетъ фактъ погребенія Гедимина въ Вильнъ.

Но мы еще возвратимся къ вопросу, гдѣ именно находится могила Гедимина: въ Вильнѣ или въ Веллонѣ? Теперь же займемся другимъ не менѣе важнымъ вопросомъ: дѣйствительно ли Гедиминъ погибъ въ 1337 году отъ огнестрѣльнаго оружія?

Длугошъ (кн. IX, стр. 923) говоритъ, что Гедиминъ погибъ въ 1337 году, подъ замкомъ Баербургомъ, отъ "огненной стрълы". Но "Оливскіе анналы" (Annales Oliv., стр. 48), на которые указываетъ Балинскій на стр. 108 своего сочиненія, доказываютъ, что Гедимина поразилъ стрълокъ Маріанъ пулею изъ бомбарды, только

что изобрътенной нъмцами и Литвъ еще неизвъстной. Балинскій, однако, говорить объ этомъ событіи иначе: "Къ концу осады Гедиминомъ замка Баербурга, продолжавшейся 22 дня, великій магистръ Генрихъ Десенерг, съ рейнскимъ палатиномъ, во главъ огромной силы, пришелъ для отраженія Гедимина, который, въ мужественной защить, паль, пораженный выстрыломь начальника стрълковъ рыдаря Тилемана Зунпаха. Онъ получилъ между шеею и лопаткою смертельную рану, отъ которой вскоръ умеръ, а войско его разбито и разсвяно". Въ примечания къ этому сказанию Балинский присовокупляеть: "Извъстно изъ исторіи, что англичане первые начали употреблять огнестрыльное оружіе 26 августа 1346 года (позднъе смерти Гедимина), при Кресси, поражая такъ называемыми бомбардами франпузскую армію. Это быль извістный родь пушекь или орудій, возимыхъ на колесахъ. Пушки эти, извергая изъ себя, съ огнемъ и ужаснымъ громомъ, небольшіе желъзные шарики, служили преимущественно для переполоха лошадей. См. Giovanni Villani Storia Fiorent. Lib. XII, стр. 947 и 948. Англійскіе рыцари, присоединяясь неоднократно къ меченосцамъ, для участія въ крестовыхъ походахъ противъ язычниковъ литовскихъ, могли еще нъсколько льтъ раньше передать тевтонцамъ изобрътеніе означенныхъ бомбардъ, и потому Гедиминъ могъ отъ нихъ погибнуть".

Трудно, однако же, съ этимъ согласиться. Коль скоро сами англичане употребили въ первый разъ въ дѣло бомбарды только въ 1346 году, то сомнительно, чтобы они не держали изобрѣтенія своего въ секретѣ и 9-ю годами ранѣе передали его меченосцамъ.

Наконець, если върить *Густинской литописи*, повторявшей всякія нельпости Стрыйковскаго, она, ссылаясь на свидътельство Кромера и Гваньини, заявляеть на стр. 351: "Въ лѣто 6886 (1348) стрѣльбу огнистую и дѣла спижовые (пушки бронзовыя, съ польскаго działa spiżowe) нѣмецъ въ Венеціи изобрѣте".

Стало быть, еще позднъе смерти Гедимина, 11-ю годами.

Такимъ образомъ, вопросъ, отъ какого оружія погибъ Гедиминъ, остается открытымъ:

Но возвратимся къ могилъ Гедимина.

Нарбуттъ, на стр. 57, пишетъ:

"Позднъе, по Бартенштейнскому миру 17 сентября 1331 (?) года оба замка (Фридбургъ и Баернъ) снесены; но въ 1364 году меченосцы сожгли Веллону и кръпость разрушили. Князь Кейстугь, однако, успъль возобновить Веллону и возвести украпленія, причемъ возобновлена и святыня богини, существовавшая до 1406 года, когда меченосцы вторично овладъли Веллоною и капище перестроили въ христіанскій храмъ. Съ тъхъ поръ на башив его до настоящаго времени красуется кресть. Въ 1414 году князь Витольдъ овладълъ этимъ краемъ и жилъ въ веллонскомъ замкв, учредилъ веллонское хорунжество или увздъ и увеличилъ церковные доходы. Въ парствованіе Сигизмунда-Августа настоятель этого костела, ніжій ксендзъ Роговскій, перешель въ протестантство и костель долго принадлежаль реформатско-евангелическому исповеданию и только при Сигизмунде III, старанічми іезуитовь, возвращень католикамъ. Этотъ краткій историческій очеркъ основанъ мною на мъстномъ изслъдовании, на свидътельствъ людей, знавшихъ тамошнія дёла, и на церковныхъ документахъ, сообщенныхъ мнъ настоятелемъ веллонскаго костела въ 1805 году. Тогда же я открыль на внутренней стънъ церкви каменную плиту, на которой, не смотря на уничтоженныя временемъ слова, можно еще было разобрать слѣдующую надпись:

## "Д. О. М.

"Это былъ памятникъ сооруженія христіанскаго храма на развалинахъ капища богини Веллоны".

Но вотъ что пишетъ объ этомъ Валинскій въ "Исторіи Вильны", ч. І, стр. 105:

"Веллона (Wielona) въ древности была укръпленнымъ замкомъ, построеннымъ, въроятно, въ XIII столътіи для обороны жмудской границы отъ нападеній меченосцевъ и извъстнымъ постоянными войнами Гедимина съ этими рыцарями, нынъ мъстечко на берегу Нъмана, въ 7 миляхъ отъ Ковны и въ полумилъ отъ Юрбурга (Jurborka). Оно дълится на двъ части, верхнее и нижнее; въ первомъ находится большой каменный, готическаго стиля, костелъ, котораго алтарная половина, т. е. Sanctuarium, носитъ слъды древности и кажется (?) относится ко временамъ язычества. Первоначальная постройка христіанскаго храма приписывается Витольду (Вотовду) и это первый костелъ по введеніи въ Литву католицизма".

Значить, Балинскій не раздѣляеть мнѣнія Нарбутта о существованіи капища богини *Веллоны* и о самой богинѣ во всемъ сочиненіи своемъ не упоминаеть ни однимъ словомъ.

"Прежній замокъ, продолжаетъ Балинскій, быль построенъ надъ самымъ Нѣманомъ, на двухъ холмахъ, соединенныхъ между собою мостомъ, перекинутымъ чрезъ глубокое ущелье. На одномъ изъ этихъ холмовъ высится упомянутый костелъ и за нимъ лежитъ нагорная частъ мѣстечка; на другомъ холмѣ находились замковые сады и огороды. Развалины разныхъ построекъ покрываютъ весь садовый холмъ, но отъ замка не осталось ни малейшихъ следовъ, хотя онъ и быль каменный. Рядомъ съ замковымъ холмомъ, съ восточной стороны, воздвигается еще одинъ коническій холмъ, называемый "горою Гедимина"; на вершинь этого конуса находится кургань, т. е. насыпь, также конической формы, у подошвы которой видна глубокая яма, какъ будто образовавшаяся отъ выемки земли для насыпи кургана. Небольшая рѣчка Веліонка, окружая съ съверной стороны замковую и Гедиминову горы, впадаеть въ Нъманъ. Названіе свое Гедиминова гора получила въ древности и сохраняетъ донынъ; курганъ же на ней, будучи дъйствительно могилою, кажется, несомнънно убъждаеть, что это и есть могила Гедимина, павшаго подъ стънами принадлежавшаго меченосцамъ замка Баербурга, недалеко отъ Веллоны.

Хотя Стрыйковскій и увѣряеть, что тѣло Гедимина привезено въ Вильну и предано торжественно сожженію, однако же, мѣстныя преданія, въ связи съ существованіемъ упомянутой могилы на Гедиминовой горт, видимой до сихъ поръ, заставляють заключить, что Гедиминъ скорѣе погребенъ въ Веллонѣ, нежели въ Вильнѣ".

Странно, что Нарбутть, собирая на мѣстѣ разныя преданія о капищѣ Веллони, не нашель нужнымь прислушаться къ преданіямь о могиль Гедимина! Мало того, онъ какъ будто ничего не знаеть и никогда даже не слышаль о ней, потому что нигдѣ не говорить о веллонской могилѣ ни слова. Между тѣмъ, разслѣдованіемъ этимъ онъ могъ бы выяснить, гдѣ именно погребенъ Гедиминъ, въ Вильнѣ или въ Веллонѣ?

Извъстно, что въ древности въ честь павшихъ героевъ насыпались огромные холмы или могилы, хотя бы герой и не былъ погребенъ въ этой могилъ. На виленской Гедиминовой гори такъ же, какъ и на веллонской, насыпана могила въ формъ продолговатаго вала, тщательно отдъланная и сохраняющаяся во всъхъ ея деталяхъ до нашихъ дней. Это самая высокая и живописная гора изъ всъхъ Антокольскихъ горъ, составляющихъ отроги Понарскихъ. Находится она при самой Вильнъ, на пути отъ костела св. Петра на Заръчье, съ правой стороны дороги. Съ нея лучшій видъ на панораму Вильны.

Спрашивается: насыпана ли виленская могила только въ честь Гедимина, а самый прахъ его погребенъ въ Веллонѣ, или наоборотъ: въ Веллонѣ насыпанъ холмъ въ память убіенія въ тѣхъ мѣстахъ героя, а прахъ его почіетъ на виленской Гедиминовой горм?

Кажется, въ этомъ случав Балинскій не правъ и сказаніе Стрыйковскаго и его последователей заслуживаетъ больше вёроятія, во-первыхъ, потому, что желаніе быть погребеннымъ на родинь, на мёств погребенія предковъ, свойственно каждому человёку и современно человёчеству, для чего и донынё тёла зажиточныхъ людей перевозятся даже изъ-за океана, а Вильна была родиною Гедимина, собственными его руками основанною, и во-вторыхъ, потому, что долина Свинторога считалась долиною священною, на которой сжитались тёла его славныхъ предковъ; лишать же великаго своего князя и отца чести быть сожженнымъ на той же священной долинё едва ли согласились бы и сыновья его, и народъ.

Одно можеть показаться страннымъ, почему о перенесеніи тёла князя изъ Веллоны въ Вильну, вёроятно въ торжественномъ шествіи, при повсемъстномъ плачѣ народа и почестяхъ, воздаваемыхъ великому праху, не упоминаетъ ни одинъ историкъ? Съ другой стороны, нътъ никакого ручательства, чтобы останки Гедимина не были перевезены тайно, изъ-за какихъ нибудь политическихъ соображеній, допустимъ хоть для отклоненія, въ такое печальное для отечества время, народнаго унынія и всякихъ манифестацій по пути слѣдованія печальнаго кортежа.

Такимъ образомъ, скорѣе въ Веллонѣ насыпанъ курганъ въ памятъ убіенія тамъ Гедимина, нежели въ Вильнѣ; а въ послѣдней воздвигнутъ не памятный курганъ, а насыпана могила надъ прахомъ героя и называется справедливо Могилою Гедимина.

## XIII.

## АЛЦИСЪ.

Легендарный богатырь въ гербъ города Вильны,

Старинная печать города Вильны.



Алцисъ, легендарный богатырь, съ женою на плечахъ. Въ христіанскую эру св. Христофоръ, съ Младенцемъ Іисусомъ.

Весьма интересенъ споръ историковъ города Вильны о древнемъ ея гербъ. Происхождение его слъдующее:

Жилъ-былъ въ Литвъ богатырь, исполинъ (копія Алкида, Геркулеса), по имени Алцисг, которому буквально было "море по колѣна" и къ которому можно примѣнить гиперболу Державина:

"Ступитъ на горы—горы трещатъ, Ляжетъ на море—бездны кипятъ, Граду коснется—градъ упадаетъ, Башни рукою за облакъ бросаетъ".

И дъйствительно, онъ разрушалъ цълые города, раздроблялъ камнями въ щены корабли, топталъ ногами непріятельскія армін, вырываль съ корнями огромные деревья и разгуливаль съ ними, какъ съ тросточками. Въ то же время онъ быль и благодътельнымъ великаномъ, отличался своимъ человѣколюбіемъ и справедливостію. Легенда говорить, что онъ встрѣтилъ у подошвы одной горы страшное чудовище, Дидалиса. съ которымъ вступилъ въ бой, убилъ его и овладёлъ громадными сокровищами, накопленными пудовищемъ въ нещеръ этой горы. Киркоръ ("Древности". Вып. 2. Москва. 1867; стр. 21) говорить, будто этоть баснословный богатырь случайно забрель вт пещеру (?) Дидалиса; но забываеть, что такой гиганть, которому "море по кольна", не помъстился бы ни въ какой пещеръ. Всъ добытыя Алцисомъ сокровища онъ отдалъ одному царьку за дочь его Аутериту, которая понравилась ему за свою богатырскую силу. Она была хотя и обыкновеннаго роста, но обладала такою силою, что, схвативъ быка за рога, перебрасывала его чрезъ себя, какъ мячикъ. страстно любилъ свою жену (не смотря на физическое различие?) и всегда носилъ ее на плечахъ; а она расчесывала ему волосы и бороду гребешкомъ, величиною въ крыло вътряной мельницы. Онъ вель бродячую жизнь и какія бы воды ни переходиль, вода едва доходила ему до колънъ.

Должно быть легенда объ этомъ сказочномъ богатыръ была очень популярна въ Литвъ, и особенно въ Вильнѣ, когда Гедиминъ пожаловалъ городу Вильнѣ гербъ, съ изображеніемъ Алциса. Вотъ что пишетъ объ этомъ Киркоръ (l. c.):

"Въ 1330 году Гедиминъ далъ городу Вильнѣ гербъ. На этомъ гербъ мы видимъ всъ признаки Алциса: въ рукъ у него, вмъсто посоха, вырванное съ корнемъ дерево; вода, на которой видънъ вблизи корабль, не доходить ему до кольнь. Сидящій на плечахь ребенокь не кто иной, какъ жена его. Такое изображение Алциса видимъ на печатяхъ виленскаго магдебургскаго магистрата еще въ XVI столетіи. Вокругь этой печати имъется надпись: "Sigillum Civitatis Vilnensis. Annus VII. Urbe condito institum", и внизу иниціалы: MR, подъ крестомъ. Съ введеніемъ христіанства, Алцисъ преобразился въ Христофора, также изображаемаго несущимъ ребенка (т. е. Младенца Іисуса) на плечахъ, переходящимъ воду, съ большимъ деревомъ въ рукъ, виъсто посоха. Впослъдствии на гербъ появился и крестъ. Это преобразованіе, оспариваемое нікоторыми историками, не можеть насъ удивлять, если вспомнимъ, сколько подобныхъ превращеній, по необходимости, было допускаемо христіанскимъ духовенствомъ въ первое время по уничтожении язычества".

Нарбуттъ, въ 1 части "Исторіи Литовскаго народа" на стр. 162, говоритъ:

"На древнемъ гербъ города Вильны изображался св. Христофоръ (Christophorus—Христоносецъ). Трудно доискиваться, когда и къмъ былъ пожалованъ городу этотъ гербъ? (А Гедиминъ?). Въ виленскихъ церквяхъ не было ни алтаря, ни нридъла, ни даже праздника во имя этого святаго, для доказательства патроната его надъ городомъ. Такое безпричинное для насъ помъщение св. Христофора въ виленскомъ гербъ наводитъ на мысль, не былъ ли въ самомъ началъ гербомъ города

Вильны легендарный гиганть Алцись, котораго потомь христіанскій пуританизмъ замѣнилъ Христофоромъ?"

На стр. 408 той же части Нарбуттъ возвращается

На стр. 408 той же части Нарбутть возвращается къ этому предмету слъдующими словами:
"Древній гербг города Вильни. Это простое изобра-

женіе Алциса, о которомъ говорили мы прежде. Гигантъ идеть вбродь чрезъ какую-то воду, подпираясь деревомь и неся на плечахъ маленькую человъческую фигурку. Вокругъ герба имъется надпись: "Sigillum Civit. Viln. Ann. VII. Urb. cond. inst." Снизу иниціалы MR и кресть, безъ сомевнія, относились къ тому бургомистру (1), во время котораго была вырѣзана и приложена печать къ имѣющемуся у меня документу 1548 года. Документъ этотъ, писанный по латыни, въ праздникъ св. Лаврентія (in festo S. Laurentii) и подписанный членами виленской городской ратупи, есть грамота, дарующая прусскому подданному Августу Ротенбаху права гражданства города Вильны. Писана она на прекрасной, гладкой и толстой бумагь, тряпичнаго издыля; печать оттиснута на самой бумагь, тщательно, посредствомъ оттиснута на самои оумагъ, тщательно, посредствомъ пресса; надпись вокругъ очень разборчива и ясно свидътельствуетъ о времени учрежденія (?) герба, т. е. въ
1325 году, слъдовательно, во времена язычества. Это
утверждаетъ насъ въ предположеніи, что гигантъ Алцисъ,
съ теченіемъ времени, преобразованъ въ Христофора".
Изъ этихъ цитатъ слъдуетъ заключить, что ни Киркоръ, ни Нарбуттъ не знали о существованіи придуманной, въроятно ісзуитами, христіанской легенды, при-

Изъ этихъ цитатъ следуетъ заключить, что ни Киркоръ, ни Нарбуттъ не знали о существовании придуманной, въроятно іезуитами, христіанской легенды, пришитой на-скоро, облыми ниткими, къ легендъ объ Алцисъ. Для приданія большей въроятности существованію—не Алциса, а Христофора, даже имя Алциса замьнено какимъ-то Оферусомъ, совсьмъ не литовскимъ, но въроятно происходящимъ отъ слова офиги—жертва (если только не афера!). Легенда эта появилась въ сборникъ Луціана Стампискаго, подъ заглавіемъ: "Преданія

и легенды польскія, русскія и литовскія" ("Podania i legendy polskie, russkie i litewskie". Познань. 1845). Въ сборникъ этомъ мало старинныхъ литовско - языческихъ преданій; большая же часть книги состоитъ изъ мистическихъ разсказовъ христіанскаго культа и даже не изъ очень отдаленныхъ временъ. Приводя легенду о Христофоръ, ксендзъ Съмъньскій самъ сознается, что она взята не изъ народнаго творчества, а навязана народу—и вотъ что говоритъ на стр. 27:

"Хотя преданіе (?) это и не есть плодомъ воображенія нашего народа, не менѣе того, однакоже, оно сдѣлалось его собственностію (?), вмѣстѣ съ другими легендами, которыя въ среднихъ вѣкахъ перешли къ намъ изъ Нѣметчины. Оно сдѣлалось популярнымъ въ народѣ (?), точно такъ же, какъ и статуи св. Христофора, которыя встрѣчаются на домахъ въ Краковѣ, Казимѣржѣ и др. Есть даже старая пѣсня о Христофорѣ, которую приводитъ Лелевель. Въ среднихъ вѣкахъ жило повѣрье, что каждый, кто видѣлъ изображеніе св. Христофора, сподобится мирной кончины. Отсюда возникла и латинская пословица:

"Christophorum videas, postea tutus cas".

Легенда гласить такъ:

Давно, очень давно когда-то быль на свътъ извъстный великанъ, по имени Оферусъ (по-польски Oferusz). Это быль человъкъ такого огромнаго роста, что въ большомъ пальцъ своей рукавицы устроилъ свадьбу сестры; а когда умерла его мать, то онъ, желая насыпать надъ нею могильный курганъ, набралъ въ свой сапогъ земли и высыпалъ ее надъ тъломъ матери, отчего образовалась гора до самыхъ облаковъ; на томъ же мъстъ, гдъ гигантъ бралъ землю, сдълалась пропасть на столько миль глубины, на сколько вновь насыпанная гора имъла вышины. Надъ этою пропастью сълъ Оферусъ и началъ

горько оплакивать мать; слезы его стекли въ бездну и образовали собою море. Отъ того морская вода солона и горька. Потомъ Оферусъ пошелъ путешествовать, съ тъмъ, чтобы отыскать самаго сильнаго и могущественнаго человъка на свътъ и поступить къ нему на службу. Вотъ ему и посовътовали, чтобъ онъ шелъ къ одному извъстному царю, который не зналъ никого выше себя и въ жизни своей не былъ знакомъ со страхомъ.

Прибывъ къ нему, Оферусъ встрѣтилъ весьма радушный пріемъ и былъ при царѣ самымъ довѣреннымъ лицомъ. Онъ предполагалъ остаться при немъ всю жизнь; но однажды случилось, что одинъ изъ служителей произнесъ слово иорта въ присутствіи царя, который при этомъ перекрестился.

- Что ты дълаеть? спросиль царя великань, бывшій еще язычникомь, не понимавшимь христіанскихь обычаевь.
  - Крещусь, потому что боюсь чорта.
- Боишься? Значить ты слабъе его и есть кто-то посильнъе тебя! Въ такомъ случав, прощай! Пойду искать его.

Съ этимъ Оферусъ ушелъ въ пустыню, гдѣ встрѣтиль цѣлый легіонъ черныхъ рыцарей, съ рогами на головахъ и съ когтями на рукахъ, въ которыхъ держали трезубцы. Въ срединѣ между ними сидѣлъ самый черный и самый страшный голова ихъ, на тронѣ изъ людскихъ череповъ и костей.

- Оферусъ! заревѣлъ онъ: кого ищешь?
- Ищу чорта, чтобъ служить у него.
- Я самъ чортъ и есть, рявкнулъ бъсъ и протянулъ къ нему руку.

Оферусъ началъ служить усердно чорту, не отста-

валь отъ него и быль правою его рукою.

Случилось, что черти предприняли какую-то экспедицію и отправились въ нее пълымъ стадомъ. Дойдя до

перекрестка, черти увидали на немъ распятіе—и поворотили назадъ.

- Что это значить? спросиль Оферусъ.
- То, что я боюсь Христа! отвѣтилъ насольшій чорть.
- Боишься? Значить ты слабѣе его и есть кто-то посильнѣе тебя! Въ такомъ случаѣ, прощай! Пойду искать его.

Разставшись съ чертями, великанъ пошелъ опять бродить по пустынъ.

- Гдѣ Христосъ? спросиль онъ у встрѣтившагося ему пустынника.
  - Вездъ, "яко вездъ сый"! отвъчалъ пустынникъ.
  - Скажи же, какъ я могу служить ему?
  - Молись и трудись, тогда обрящешь Христа.
- Молиться я не умъю, а трудиться готовъ. Скажи, что дълать мнъ!

Пустынникъ привель его къ рѣкѣ, низвергающейся съ горы.

- Чрезъ эту рѣку сказалъ онъ никто переправиться не можетъ и тонетъ на срединѣ ея. Тебѣ Богъ далъ силу и великій ростъ. Переноси путешественниковъ на другую сторону. Ежели будеть дѣлать это во имя Христа, Онъ приметъ тебя въ число слугъ своихъ.
  - Буду делать это, Христовой любви ради.

И исполинъ началъ день и ночь переносить на себъ путниковъ на другую сторону ръки, подпираясь сосною, которую вырвалъ съ корнемъ.

Однажды онъ, утомленный дневными трудами, крѣпко уснулъ. Вдругъ, слышитъ дѣтскій голосъ, трижды про-износящій его имя. Великанъ вскочилъ и, увидя предъ собою ребенка, вскинулъ его къ себѣ на плечи и во-шелъ въ воду. Вдругъ вода начала бурлить и подниматься. Оферусъ въ первый разъ въ жизни почувствовалъ тяжесть, подъ которою началъ изгибаться и сердце его

переполнилось неизвъстнымъ ему дотолъ страхомъ. Онъ поднялъ глаза вверхъ и спросилъ:

- Дитя, дитя! Почему ты такое тяжелое? Мнѣ кажется, будто я цѣлый свѣтъ несу на своихъ плечахъ.
- Ты не опибаенься! отвъчало дитя: не только цълый свъть, но и того, кто создаль его. Я Христось, которому ты служинь. Крещаю тебя, во имя Отца, мое и Святаго Духа! Отнынъ ты будень называться Христофоромъ, пъстуномъ (?... всего только перевозчикомъ!) Христовымъ!

Съ тѣхъ поръ Христофоръ сталъ ходить по свѣту и распространять учене Христово, за что язычники и побили его камнями (!?).

Воть что называется соблюсти всв интересы! И великанъ съ сосною сохраненъ, и объяснено, кто была человъческая фигура на его плечахъ. Только зачъмъ понадобилось автору преображать Христа въ младенца, когда дело происходило уже во времена христіанства и появленія распятій на перекресткахъ и когда на плечахъ великана и взрослый человъкъ казался бы ребенкомъ-это его тайна. Тутъ авторъ въ прямомъ выигрышъ: уничтожая сказочнаго, никогда не существовавшаго Алциса, онъ создаетъ Оферуса и заставляетъ върить, что онъ былъ лицомъ не миническимъ, но живымъ, настоящимъ и слъдовательно могущимъ устраивать свадьбы въ пальцъ своей рукавицы и въ одномъ сапогъ переносить подоблачныя горы. Спрашивается только: какимъ же образомъ язычники ухитрились побить камнями такого гиганта, который однимъ сапогомъ земли могъ самихъ ихъ засыпать цёлые десятки тысячъ?...

Значить, для фанатизированія народа не всегда нужень здравый смысль!

Но М. Балинскій ("Исторія г. Вильни". Вильна. 1836) категорически отвергаетъ существованіе герба съ изображеніемъ Алписа и въ ч. II, на стр. 98, говоритъ:

"Городъ Вильна съ давнихъ поръ имѣлъ гербъ съ св. Христофоромъ (?) на красномъ полѣ. Въ привиллети Сигизмунда-Августа, данной городу Вильнѣ въ 1548

году, между прочимъ, говорится:

"In publicis vero Officii civilis negotiis et actis, utentur sigillo, Civitatis usitato, Sancti Christophori imaginem continente, caera vero rubea, more primariarum in Regno Poloniae civitatum".

"Эти слова привиллегіи подвергають сомнинію существование той поганской печати съ гербомъ города Вильны, о которой читали мы въ № 4 "Виленскаго Курьера" за 1834 годъ, на стр. 24. Мы простили бы авторамъ ея надпись вокругъ герба, въ которой правописаніе и латинская грамматика сильно пострадали (sigilum. Civitatis Vilensis. Anno VII. Urbi Condito. Institutum), хотя во времена Сигизмунда-Августа, когда въ Литвъ и Польшъ латинскій языкъ быль извъстенъ въ совершенствъ, легко было исправить надпись, выръзанную язычниками (?); но не можемъ простить набожнымъ виленцамъ того, что въ 1548 году-какъ доказываетъ авторъ статьи о печати города Вильны-имъя въ гербъ своемъ Христофора, о которомъ Сигизмундъ-Августь, въ только-что приведенной привиллегіи, выражается такъ ясно-отважились употребить печать съ изображеніемъ Алциса, для приложенія къ документу. По какой именно причинъ, понять невозможно. Замътимъ еще, что въ 1548 году, когда былъ выданъ отъ города Вильны акть съ упомянутою печатью и съ подписью виленскаго войта, таковымъ быль Феликсъ Лангура, родомъ краковянинъ, фанатическій католикъ, который никогда не употребиль бы поганской печати. Также и буквы MR не составляли бы иниціаловъ его имени и фамиліи и пом'вщенный при нихъ крестъ былъ бы не совм'встимъ съ языческимъ Алцисомъ. Словомъ, гербъ города Вильны въ 1548 году былъ не иной, какъ образъ св. Христофора, въ красномъ полѣ. Откуда же онъ почерпнулъ свое начало, быть можетъ когда-нибудь выяснится".

Что же это значить? Балинскій какъ будто также ничего не знасть о легендь объ Оферусь, которая, очевидно, сочинена для того, чтобъ увврить новыхъ христіанъ, будто въ виленскомъ гербв фигурируетъ не Алцись, а св. Христофоръ. Почему Балинскій полагаетъ, что вопрось о происхожденіи герба "когда нибудь выпснится", если означенною легендою онъ разрышается такъ просто? Одно изъ двухъ: или Балинскій умышленно умалчиваетъ о ней, или двиствительно не зналь о ея существованіи? Если умалчиваетъ, то съ какою целью? А если не зналь даже и онъ, то откуда же она извъстна одному Сфивньскому? Ужъ не самъ ли онъ сочиниль ее?

Впрочемъ, Балинскій долженъ былъ такъ говорить. Какъ іезуитъ, онъ остался въренъ себъ: водитъ нарочно окольными путями читателя, чтобъ отдалить его отъ истины. Онъ умышленно обходитъ то обстоятельство, что гербъ получилъ начало свое не въ 1548 году, а слишкомъ 200 лътъ раньше, въ 1325 или 1330 году, когда литовцы не знали еще латинскаго языка, а слъдовательно, не имъли ни возможности, ни надобности дълать вокругъ своей печати надписи, которую такъ критикуетъ Балинскій, и еще менъе изображать на ней крестъ. Безъ сомнънія, первоначальная печать, съ изображеніемъ Алциса, не имъла никакой надписи и таковая сдълана только во времена христіанства, съ добавленіемъ вензелеваго имени Пресвятой Дъвы Маріи, т. е.

связанных между собою буквъ M и R и украшенных сверху крестомъ, какъ употребляется этотъ вензель донынѣ, причемъ самое изображеніе печати оставлено безъ малѣйшаго измѣненія и только Алцисъ переименованъ въ Христофора. Это отнюдь не догадка, а прямой фактъ, потому что св. Христофоръ ни въ древности, ни въ новѣйшее время не считался покровителемъ (патрономъ) Вильны, но таковыми были, вначалѣ (по свидѣтельству орденскаго посла къ Витольду, въ 1397 году, графа Кибурга) св. Hиколай Mиръ-Jикійскій, а потомъ Kазиміръ; Христофоръ же не имѣлъ здѣсь во имя свое ни храма, ни алтаря, ни празднества.

#### XIV.

#### 3 ничь.

#### Мнимый священный огонь языческо-литовскій.

Литовцы во всѣ времена считали огонь божественною силою, боготворили его въ язычествѣ и почитаютъ въ христіанствѣ, которое само заповѣдало почитаніе огня, выражающееся въ свѣчахъ и лампадахъ, нерѣдко неугасимыхъ, предъ образами. Но вѣчный языческій огонь никогда названія Знича не носилъ и оно было присвоено ему только писателями, легкомысленно относившимися къ дѣлу и вводившими ученыхъ въ заблужденіе цѣлыхъ три столѣтія.

Последствіемъ этого было то, что въ образованномъ мірѣ, даже въ Литвѣ (но не въ народѣ), укоренилось до такой степени убѣжденіе въ существованіи огня Знича, что поколебать это убѣжденіе представляется крайне труднымъ, если не невозможнымъ, тѣмъ болѣе, что популярныхъ сочиненій, для искорененія этого ложнаго убѣжденія, нѣтъ, а всѣ легкія, доступныя всякому пониманію произведенія, въ особенности поэтическія, въ родѣ поэмъ Крашевскаго "Апаfielas", основаны на безусловной вѣрѣ

въ мнимые авторитеты и только укореняютъ понятія о несуществовавшемъ названіи Знича.

Такъ, по свидътельству Петра Епископа "Зничь", въчный огонь, богъ стихіи огня, символь души боговъ и жизни цълаго міра, быль боготворимь и поддерживаемъ съ величайшимъ тщаніемъ и благоговъніемъ въ отдъльныхъ храмахъ, окруженныхъ кръпкими ствнами. Огонь пылаль или въ честь всёхъ боговъ, или предъ лицомъ единаго непостижимаго Существа, которое было силою и душею какъ боговъ, такъ и цѣлаго свѣта. Изъ всего того, что объ этомъ огий извистно изъ литописцевъ, можно дать въру тому мивнію, что почитаніе  $3\mu u$ ча (१) относится къ самой отдаленной древности и занесено въ Литву предками литовцевъ съ востока. Историческія сказанія свид'ьтельствують, что литовцы въ XIV столътіи таили и скрывали въглубинъ неприступныхъ лъсовъ священные свои огни и были вполнъ убъждены, что угасаніе ихъ грозить погибелью всему литовскому народу.

"Самый огонь Знича добывался жрепами высѣканіемъ изъ кремня, который держаль въ рукѣ истуканъ Пер-куна.

"На алтарѣ Знича жертвы не сожигались; это была безкровная жертва, неугасаемая лампада предъ лицомъ боговъ; ему поклонялись съ величайшимъ благоговѣніемъ; отъ него брали головни для сожженія самыхъ важныхъ жертвъ и для погребальныхъ костровъ. Золѣ его приписывали чудотворную, испѣлительную силу; жрецы употребляли ее для ворожбы и предсказаній. Огонь Знича берегли жрецы и жрицы, подъ главенствомъ самого Креве-Кревейто и за допущеніе огня угаснуть виновные служители алтаря были сожигаемы живьемъ. Для огня этого употреблялись дубовыя дрова изъ священныхъ рощь, янтарь, живица и другія смолистыя вещества.

Моленія огню совершались въ изв'єстные часы, при звукахъ тогдашней музыки".

Все это повторяетъ Нарбуттъ въ 1 ч., стр. 285 своей "Исторіи литовскаго народа" и дълаетъ ссылки на "Житіе св. Ансгарія" и на примъчанія Преторіуса.

Но Нарбутть машинально повторяль за всёми старинными писателями названіе Знича и не даль себё труда провёрить, откуда собственно взялось это названіе? Причиною тому было незнаніе имь литовскаго языка. За Нарбуттомъ повторяли это названіе и всё последующіе писатели, именно: изъ русскихъ—Иловайскій, Кукольникъ (Павелъ), Афонасьевъ; изъ польскихъ—Нарушевичъ, Шайноха, Балинскій и цёлый рядъ ихъ компиляторовъ. Не говорю о Стрыйковскомъ и нёмецкихъ древнихъ лётописцахъ, которые и придумали это названіе.

Нарушевичъ, въ "Ист. польск. нар.", ч. I, стр. 451, говоритъ, что сдавяне также знали подобный огонь подъ названіемъ Звичь (?).

Афонасьевь ("Поэтич. воззрѣніе славянь на природу"), на стр. 7 выводить даже этимологію Зничи и доказываеть, что въ эпоху язычества литовцы чтили огонь, какь особое божество, подъ именемь Знича, именно: "зной, зіять или знилть—блестѣть, сіять; зніять—пылать, пахнуть гарью; зноиться—дымиться; зноить—оть сильнаго жара принимать красный цвѣть". (Области. слов. 70; Донской обл. слов. 68). Г. Афонасьевь забываеть, что эти корнесловы славянскіе, а не литовскіе и не могли выродить литовскаго слова Зничь. Далѣе г. Афонасьевь продолжаеть:

"Но что поклоненіе огню принадлежало культу громовника, видно изъ самаго возженія священнаго пламени предъ истуканомъ *Перкуна*. Въ Литвѣ до сихъ поръ разсказываютъ, что нѣкогда *Перкунъ*, вмѣстѣ съ *Поклусомъ*, богомъ преисподней, странствовалъ по землѣ и наблюдаль за людьми: сохраняють ли они священный огонь? и при этомь надъляль богиню жатвъ, т. е. землю, неувядаемою юностію, силою плодородія". (Рус. Обл. Сл. 1860, т. V, стр. 12).

Между тъмъ, профессоръ Мържинскій первый заявиль печатно, въ 1869 году, что на литовскомъ языкъ вовсе нъть слова Znicz, но есть Zinicze, мъсто прорицанія, узнанія воли боговъ (oraculum) и Zinis-истолкователь ея, прорицатель. Мържинскій въ первый разъ нашель слово Зинче или Жинче у Длугона, который въ франкфуртскомъ изданіи своемъ 1711 года, въ кн. Х, на стр. 109, пипістъ подъ 1387 годомъ, что *впиный огонъ* былъ поддерживаемъ "а sacerdote, qui Zincze appellabatur", т. е. священникомъ, который назывался Зинче. Мъховитъ, въ базельскомъ изданіи 1682 г., стр. 143, слъдуеть тексту Длугоша и также пишетъ: "Colebant ignem qui per sacerdotem linqua eorum, Zincze nuncupatum, subjectis lignis adolebatur", т. е. также "священникомъ, на ихъ языкъ именуемомъ Зинче". Такимъ образомъ, у Длугоша и Мъховита Zincz или Zincze означаетъ жрепъ-sacerdos; но Стрыйковскій и пользовавшійся имъ (или върнъе, обокравній его, Гваньинъ, о чемъ Стрыйковскій своевременно заявляль печатно), пишутъ: "Împrimis ignem, quem sua lingua Znicz ut rem sacram appellabant". Значитъ у нихъ Зничь—огонь, ignis, a не sacerdos.

Стрыйковскій съ полнымъ пренебреженіемъ относился къ "поганству" (язычеству) вообще и потому поверхностно смотрѣлъ и на всякій историческій матеріалъ, касавшійся этого "поганства", сваливалъ матеріалъ этотъ въ одну кучу, не разбирая его достоинства, и представиль его потомству въ сыромъ, неочищенномъ видѣ. Слѣдовательно, не мудрено, что онъ и къ сказаніямъ Длугоша и Мѣховита отнесся легкомысленно и, по обыкновенію своему, спуталъ, присвоивъ названіе жреца

и *мпста прорицанія* самому *огню*. О Гваньинѣ не стоить и говорить, потому что это тотъ же Стрыйковскій, только въ латинскомъ изданіи.

Но Длугошъ и Мъховитъ оказываются правыми только на половину: еслибы они знали литовскій языкъ, то должны были бы писать: Зинисъ—жрепъ и Зиниче—мъсто узнанія воли боговъ.

Далъе, г. Мържинскій, въ неизданномъ еще манускриптъ своемъ (1887 года), разбирая Преторіуса (1635—1707), справедливо замъчаетъ:

"Всѣ дѣла, какъ ежедневныя, такъ и особой важноети, литвинъ приписывалъ волѣ боговъ, о которой справлялся у знахарей, называемыхъ у пруссовъ Вайдем, Вайделотаст, а у литовцевъ Зинист. Въ менѣе важныхъ случаяхъ онъ могъ доискиваться воли боговъ самъ, при помощи огромнаго числа разныхъ суевѣрныхъ гаданій. Число знахарей было необыкновенно велико и названіе свое они получали отъ тѣхъ предметовъ, на которыхъ ворожили о волѣ боговъ или предсказывали будущее".

Знахарями этими, независимо отъ самого *Креве-Кре-вейто* и отъ *Эварто-Креве*, *Креве*, *Кревулей*, *Вейдало-товг*, *Вуршайтовг*, *Сигонотовг*, *Потиниковг*, *Лингуссоновг* и *Тилуссоновг*, *Швальгоновг*, *Буртиниковг*, \*) были еще:

Путтоны, гадальщики надъ водою и ея п'вною. Пустоны, получившіе названіе свое отъ глагола дуть,

<sup>\*)</sup> Лица первых 4-хъ наименованій принадлежали въ числу высшаго духовенства; Вейдалоты—жрецы посвященные; Вупшайты—помощники ихъ, жрецы не посвященные; Силоноты—родъ мусудьманскихъ дервишей, фанатики и ворожей; Потиники—жрецы бога Рагуписа, литовскаго Бахуса; Литуссоны и Тилуссоны—погребальные жрецы; Швальгоны—свадебные жрецы; Буртиники—народные пъвцы, потомъ гадальщики и шарлатаны. Были еще и Мильдувники, жрецы богини любви Мильды: они занимались разными продълвами по части любовныхъ похожденій.

такъ какъ они дуновеніемъ своимъ брались залечивать раны и останавливать кровотеченіе. Въ просторъчіи ихъ называли: дмухачи, дутели. Не върнъе-ли надуватели?

Вейоны, ворожившіе по направленію в'тра.

Жвиконы, прорицатели по пламени и дыму приготовляемыхъ ими особаго рода свъчей.

Сейтоны, действовавше по разнымъ амулетамъ.

Канну-Раугист, въщуны по соли и пивной пънъ.

Зильнеки, предсказатели по полету птицъ, метеорамъ и разнымъ воздушнымъ и атмосферическимъ явленіямъ.

Лаббдаррисы (благодѣющіе), шарлатаны и фокусники, илуты и обманщики, пользовавшіеся нерѣдко большою популярностію. Латыши до сихъ поръ вѣрятъ въ этихъ "благодѣтелей".

Звайждиники, астрологи, гадавшіе по зв'яздамъ.

Нодукнигиникасъ, чернокнижники, чародъи.

Вилкатсы, оборотни, волколаки, имквшие способность превращаться въ волковъ.

Женскій персональ этой группы составляли:

Всидалотки или Вейдалотени, жрицы впинаго огня, весталки.

Рагутини, жрицы литовскаго Бахуса, бога Рагутиса.

*Бурты*, народныя п'явицы, какъ *Буртиники*, народные п'явцы и гадальщики.

*Лаумы*, злыя въдьмы, возведенныя даже въ божества.

Обо всёхъ этихъ группахъ свидетельствуетъ Нарбуттъ въ ч. 1, стр. 263—270.

Далье, Мържинскій продолжаеть:

"Главная ворожба была на огнъ, который, въ извъстныхъ мъстностяхъ, поддерживаемый служащими жре-

цами, пылаль вѣчно. Мѣсто такое, по крайней мѣрѣ на Жмуди, называлось Зиниче. т. е. мѣсто узнанія воли боговь, такъ какъ послѣдній слогь этого слова сze (че) означаеть мѣсто (oraculum). Желающіе отправлялись къ мѣсту прорицанія или храненія огня, Зиниче, и спрашивали совѣта у знахаря жреца, Зиниса, который, по горѣвшему въ данный моменть огню, узнаваль о волѣ боговъ и сообщаль ее вопрошавшему. Въ Пруссіи и Литвѣ святилища вѣчнаго огня назывались Ромнове, Ромове или Ромайне".

Іезуитъ Станиславъ Ростовскій, сочиненіе котораго вышло сперва въ Вильнѣ, въ 1768 году, а новымъ изданіемъ въ Парижѣ, въ 1877 году, подъ заглавіемъ:

"Lithuanicarum Societatis Jezu, Historiam Libri Decem, auctore Stanislao Rostovski, recognoscente Joanne Martinov, ejusdem Societatis Presbiteris",

говорить о *Перкунт*, подъ 1583 годомъ, № 14: "Jupiter ille fulmineus, vulgo Percunas".

Разсказываетъ онъ также, что Перкуну въ лѣсахъ посвященъ былъ вѣчный огонь:

"Percuno ignem in sylvis sacrum vestales romanas imitati, perpetuum alebant".

Ростовскій также не называеть огня этого Зишчема и говорить лишь о "весталкахъ на манеръ римскихъ".

Цитату эту приводить Э. Вольтеръ въ объясненіяхъ своихъ къ "Катехизису Даукши", на стр. 101. Но на стр. 129 онъ приводить этимологическое происхожденіе словъ Зиниче и Зинисг:

"Zunaut—шептать, гадать, чаровать; źinawimas—ворожба; żynis—колдунъ; żynie, а по Нессельману źyne—колдунья, въдьма. Къ этому корню, повидимому, принадлежить Зиние у Длугоша: "Sacerdote qui Zincze appellabatur". (О литературъ этого вопроса сравни Я. Карловича, стр. 375, примъч. № 81). Священный же огонь несправедливо называется Зничъ".

Наконецъ, Киркоръ, въ статъв "Матеріалы для археологическаго словаря" (Древности. Вып. 2, Москва, 1867), единственный разъ осмвливается противоръчить Нарбутту и на стр. 48 заявляетъ:

"Зиниче въ буквальномъ переводъ храмъ въдънія, идея животворной силы и въчнаго свъта (неугасаемаго огня). Новъйшія ученыя изслъдованія лингвистовъ доказали, что въ литовскомъ языкъ слова Зничь нътъ вовсе, но есть Зиниче, которое означаетъ не огонь, а отдъльное, огражденное мъсто для сборной молитвы духовенства. Отъ Зиниче происходитъ Зинисъ, знахарь, въщунъ, жрецъ; зиніа—въдъніе, знаніе; зинотіе—знать, въдать".

ства. Отъ Зиниче происходитъ Зинисъ, знахарь, въщунъ, жрецъ; зиніа—въдъніе, знаніе; зинотіе—знать, въдать". То же самое повторяетъ Киркоръ и въ своемъ "Путеводителъ по Вильнъ", на стр. 102. Но въ виду приведенныхъ выше этимологическихъ указаній Э. Вольтера, слова Киркора зиніа и зинотіє, какъ незнавшаго литовскаго языка, разумъется, ничего не стоятъ.

Какъ въ дъйствительности называли древніе литовцы священный огонь, до настоящаго времени еще не открыто. Мържинскій полагаетъ, что въроятно *швентъ-угнисъ*, а Вольтеръ, что śwenta ugnélé, отъ индо-германскаго или обще-арійскаго Çpentas—святой, чистый и санскритскаго Agni—огонь.

#### XV.

## кривой городъ

#### въ древней Вильнъ.

"Кривымъ Городомъ" называлась въ древности низменная часть города Вильны, возникшая въ "долиню Святорога". Относительно названія этого (Кривой городъ) историки бродять вокругъ да около и никакъ не могутъ попасть на прямой путь. А дъло такъ просто! Но вотъ историческій же источникъ:

Профессоръ новороссійскаго университета М. Смирновъ, въ сочиненіи своемъ: "Ягелло-Яковг-Владиславъ" (Одесса, 1868), приводитъ, взятый у Нарбутта, "Дневникъ графа Кибурга", посла къ Витольду отъ великаго ма-

гистра Тевтонскаго ордена, въ 1397 году.

Вотъ что пишетъ Кибургъ о тогдашней Вильнъ:

"Изъ старой исторіи Вильны то достойно вниманія, что въ этихъ пустыняхъ и лѣсистыхъ мѣстахъ, кругомъ облитыхъ рѣками, было населеніе въ весьма давнее уже время, и когда, въ XIII столѣтіи, появилась здѣсь, при устьѣ Вилейки въ Negris (не Negris, а Neris, древнее названіе р. Виліи), главная святыня Перкуна, то прилежавшія

слободы, ставъ подъ защиту первосвященника (Креве-Кревейто, верховнаго жреца), сдёлались еще населенне. Гедиминъ эти слободы превратиль въ городъ, на подобіе городовъ заграничныхъ: русиновъ онъ поселиль отдёльно отъ туземцевъ; для нёмцевъ и поляковъ назначилъ часть около маленькой церкви св. Николая. Длинная улица, простирающаяся отъ рудоминскаго въёзда до замка, дёлитъ городъ на двё половины: ближайшая къ Вилейкъ--русская, напротивъ-литовская, гдё помёщаются и нёмцы. Верхній замокъ, на высокой, обрывистой, Замковой горѣ, обнесенъ высокими каменными стёнами; нижній лежитъ внизу, окруженъ деревянными палисадами и валомъ и называется "Кривимз городомъ" (Castrum curvum, Cromhaus)".

Такимъ образомъ, слободы, ставшія подъ защиту первосвященника Креве. получили название Кревских слободо, подобно тому, какъ у насъ существовали встарь патріаршія слободы. По превращеній ихъ Гедиминомъ въ городъ, жители сохранили за собою прежнее названіе свое и зависимость отъ Креве. Поэтому, верхній замокъ или кръпость, въ которомъ жиль великій князь, называли Пиле-Калнев, т. е. горный замокъ, а нижній, обиталище Креве-Кревейто, Креве-Пиле, т. е. Кревскій замокъ или городъ; но, съ теченіемъ времени, передълали это названіе: русскіе въ "Кривой городъ", поляки въ "Krzywy grod", латинское духовенство въ "Castrum curvum", а рыцари въ "Cromhaus", не смотря на то, что Вильна въ тъ времена отнюдь не имъла никакой кривизны, напротивъ, отличалась широкими, прямыми улицами, пересъкавшимися подъ прямымъ угломъ и образовавшими правильные, квадратные кварталы, какъ видно изъ плана ея, снятаго въ 1550 году и находящагося какъ въ виленской городской думъ, такъ и въ географическомъ атласъ Бэмера, изданномъ въ Нюренбергъ въ 1610 году.

#### XVI.

# ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ

### КЕЙСТУТА.

Высокопоэтическая личность *Кейстута* донынѣ живеть въ народныхъ пѣсняхъ, преданіяхъ и легендахъ Литвы и особенно Жмуди.

По смерти *Гедимина*, сыновья его *Ольгерд*г и *Кейструт* заняли княжескіе престолы: первый въ Литвѣ, съ столицею въ Вильнѣ, а послѣдній на Жмуди, съ

столицею въ Трокахъ.

Кейстуту понравилась знаменитая красавица, жрица богини Прауримы (Вейдалотка) Бирута, 17-ти-лѣтняя дочь жмудскаго баіораса (боярина) Видымунда; онъ похитиль ее въ Полунгъ (Полангенъ) отъ алтаря богини, увезъ къ себъ въ Троки и женился на ней въ 1348 году. Кейстутъ имъль отъ нея сыновей: Витовда (Витольда въ 1350 году) Патрика, Товишвилла и Сигайлу и дочь Дануту.

Умирая, Ольгердъ назначилъ наслъдникомъ своимъ, по соглашению съ братомъ Кейстутомъ, старшаго сына своего Ягайлу (по польскимъ источникамъ Ягелло).

Исторія не щадить красокъ для обрисованія этого князя: она изображаеть Ягайло малодушнымъ, коварнымъ, жестокимъ и злымъ. Онъ находился подъ вліяніемъ раба и любимца своего Войдилли. Вступивъ на великокняжескій престоль, Ягайло пожаловаль этого раба въ княжеское достоинство, далъ ему Лидское княжество и выдаль за него насильственно родную сестру свою Марію Ольгердовну.

Такіе поступки Ягайлы не могли нравиться честному герою Кейстуту и сыну его Витовду, однольтку и другу Ягайлы. Но Кейстутъ молчаль. Когда же узналь, что Ягайло, изъ боязни своего дяди и по наущению Войдыллы, заключиль съ великимь магистромь ордена тайный союзь на погибель Кейстуту и Витовду, съ тъмъ, чтобы за это отдать рыцарямь Жмудь, то поспъшиль хитростію овладьть Вильною и заключиль обоихъ измънниковъ въ оковы; найдя же письменные договоры Ягайлы съ рыцарями, Кейстутъ хотълъ казнить смертію преступниковъ; но по просьбъ сына даровалъ жизнь племяннику и приказалъ повъсить на "лысой" (нынъ крестовой) горъ одного Войдыллу. Мало того, думая поразить племянника своимъ великодушіемъ и тъмъ привязать его къ себъ на всю жизнь, благородный Кейстуть, хотя и свергнуль его съ престола, отдаль ему всъ богатства отца его Ольгерда и предоставилъ ему княжества Кревское и Витебское.

Занятый войнами, Кейстуть находился внѣ предѣловь Литвы; намѣстникомъ же своимъ въ Вильнѣ оставиль нѣкоего Гануля Накимна (Ганулона, какъ называють его иные). Этоть новый измѣнникъ взбунтоваль противъ Кейстута гарнизонъ въ Вильнѣ, вызваль изъ Витебска Ягайлу съ его войскомъ и впустилъ въ Вильну.

Тутъ Ягайло развернулся во всей силъ злобнаго своего характера и совершилъ жестокую кровавую тривну по своемъ любимцъ Войдыллъ.

Со всемь сказаннымь выше соглашаются въ общихъ чертахъ вев историки единогласно, но расходятся лишь въ деталяхъ.

Крашевскій (отнюдь, впрочемъ, не считающійся авторитетомъ), въ поэмъ своей "Витольдовы Битвы", въ увлечении ли поэтическаго творчества, или на основаніи какихъ нибудь данныхъ, разсказываетъ, что Ягайло, по прибытіи въ Вильну, вельль снять съ дерева тъло любимца своего Войдыллы и торжественно предать сожженію въ священной долинь Святорога (нынь Каеедральная площадь), причемъ приказалъ возвести на костеръ сто юношей изъ числа преданныхъ Кейстуту; а предъ костромъ обезглавить сто старцевъ и колесовать Видымунда, дядю Бируты.

Затъмъ, пользуясь отсутствиемъ дяди, напалъ на княжество Трокское и вынудиль Витовда съ матерью быжать въ Гродну. Когда же Кейстугъ возвратился и, соединясь съ сыномъ своимъ, пошелъ на Вильну, то встрътиль Ягайлу уже въ союзъ съ меченоспами. Когда двъ арміи сошлись, Ягайло не хотъль начинать битвы, но сталь звать Кейстута и Витовда въ свой станъ для переговоровъ о въчномъ миръ и согласіи. Прямодушные герои отепъ и сынъ, обманутые клятвами братьевъ Ягайлы, которые и остались заложниками въ станъ Кейстута, отправились въ непріятельскій лагерь; но тамъ были измъннически схвачены, обезоружены и въ тяжкихъ оковахъ отправлены въ разные замки. Кейстутъ былъ посланъ въ тюрьму въ Крево, то самое, которое великодушный Кейстутъ далъ ему въ удълъ, по свержени съ виленскаго трона.

Въ тюрьмъ этой, чрезъ пять дней, Кейстутъ быль

найденъ удавленнымъ.

Русскія льтописи говорять объ этомъ кратко:

Софійскій Временника (въ виленскомъ изданіи Дани-довича въ 1827 г., стр. 198): "Въ то же льто 6,888 (1380)

бысть мятежъ (?) великъ въ Литвѣ и убища великаго княза *Кестутія Гедиминовича*".

*Іптописецт великихт князей литовских* (изд. то же, стр. 58):

"И тамо во Кревѣ пятой нощи князя великаго *Кестутія* удавили коморникы князя великаго Ягайлы: *Прокша*, што воду даваль ему, а были иныи: *Мостевъ* брать (?), а *Кучіокъ*, а *Лисица Жибентай*".

Эта лѣтопись сохранила намъ имена убійцъ Кейстута; но произвольно ли они убили его изъ опасенія побѣга и отвѣтственности за то собственными головами, или же по повелѣнію Ягайлы—не объясняетъ. Между тѣмъ, стража, въ оправданіе свое, показала будто князь удавился самъ.

Карлъ Шайноха, этотъ добросовъстный историкъ Литвы, въ сочиненіи своемъ "Ядвига и Ягайло" (перев. Кеневича. Спб. 1880, стр. 353) приводитъ рядъ писателей, взаимно противоръчащихъ себъ въ этомъ темномъ дълъ. Вотъ что говоритъ онъ:

"Жена умершаго богатыря (Кейстута), прежняя языческая жрица (Бирута), теперь болье чыть 60-лытняя старуха, была въ это самое время утоплена". (Вигандъ. Racz. 274. Слова Витольда у Бачка Annal. des Koenigs. Pr. Voigt Hist. Pr. V. 372. Тамъ же Handlung Wieder Polen.).

"Столь рѣшительное свидѣтельство опровергаетъ Нарбутта (V. 301, 302), который удлиняетъ жизнь старой княгини еще на 34 года. Между тѣмъ, тотъ же Вигандъ, свидѣтельствующій объ утопленіи Бируты, говоритъ на стр. 388: "никто на свѣтѣ не знаетъ, какимъ образомъ Кейстутъ окончилъ жизнь".

Ниже увидимъ, что Нарбуттъ въ этомъ случав правъ и что Вигандъ относительно смерти княгини Биругы сильно ощибался. Шайноха продолжаеть:

"Liedenblat. Jahrbücher (стр. 50) говорить о самоубійствѣ Кейстута: Меченосцы, называвшіе Ягайлу "бѣшенною собакою", не смѣли явно обвинять его въ смерти Кейстута. (Alte Preuss. Chron. Der Bösehant. Voigt Hist. Pr. V. 502). Витольдъ выразился только, что Ягайло "погубилъ" его отца.

"Нарбутть не зналь вовсе Виганда, изданнаго нѣсколько лѣть спустя послѣ выхода его сочиненія (Исторія Литовскаго Народа). Но Вигандъ, какъ современникъ и можеть быть даже личный свидѣтель (?), имѣетъ преимущество предъ русскими хрониками (?).

"Длугошъ соединилъ Виганда съ русскими сказаніями; но руководимый больше народностію (?), нежели историческою критикою, онъ далъ первенство русскимъ

источникамъ (!).

"Нарушевичь послѣдоваль Длугошу. Не зная, что случилось въ кревской тюрьмѣ—пишеть онъ—Ягелло послаль брата своего Скиргайла съ порученіемъ къ Кейстуту. Скиргайло, желая говорить съ дядей, нашель его мертвымъ. Ему ничего не оставалось дѣлать, какъ отправить тѣло въ Вильну, чтобы тамъ отдать послѣднюю почесть. Ягелло и сестра его Марія, вдова Войдыллы, позволяли себѣ не вѣрить добровольной смерти стараго князя". (Voigt. Hist. Preuss. V. 371, 372).

Едва ли справедливо Шайноха върить больше Виганду, нежели Длугошу, Нарушевичу и русскимъ источникамъ. У Виганда одно только справедливо, что "никто на свътъ не знаетъ, какимъ образомъ Кейстутъ окончилъ жизнь". Если родной сынъ Кейстута не обвинялъ Ягайлу въ убійствъ отца своего, то какое же право имъли обвинять его меченосцы? Ниже увидимъ, что могли быть и другія причины молчанія меченосцевъ, тогдашнихъ союзниковъ Ягайлы. Сынъ же дъйствительно могъ не знать, какимъ образомъ погибъ его отецъ, потому что содержался съ нимъ въ разныхъ тюрьмахъ. Витольдъ не могъ допустить мысли, чтобъ двоюродный братъ его простеръ свою жестокость до убійства родного дяди, и нотому могъ повѣрить или самоубійству отца, или насилію со стороны тюремной стражи—и затѣмъ обвинять Ягайлу только въ томъ, что онъ "погубилъ" отца арестомъ.

Коварный Ягайло ловко съумѣлъ скрыть свое преступленіе и больше ничего. Не даромъ онъ не вѣрилъ въ самоубійство Кейстута.

Между тъмъ, всъ народныя преданія, легенды и пъсни безусловно обвиняють Ягайлу въ убійствъ любимаго князя.

Тѣ же легенды совершенно противорѣчатъ мнимому утопленію Вируты, о чемъ Вигандъ, этотъ "личный свидѣтель", заявляетъ, какъ о фактѣ совершившемся. Еслибы Бирута погибла такимъ мученическимъ образомъ, то этимъ были бы переполнены всѣ литовскія пѣсни, посвященныя ей, и могила ея, во времена христіанства, была бы чтима, какъ могила мученицы.

Между тѣмъ, народъ, по свидѣтельству Стрыйковскаго—какъ было сказано въ статъѣ "Праурима"—считаетъ Бируту, за ея добродѣтели, только святою; а Нарбуттъ (ч. І, стр. 88) говоритъ, что ни Ягайло, ни Витольдъ, изъ уваженія къ княгинть, не могли склонить ее къ принятію христіанства и потому она оставалась въ язычествѣ до смерти.

Новое доказательство, что Вирута не была утоплена и что Виганду върить не слъдуетъ.

Но всѣ эти источники еще мало бросаютъ свѣта на занимающій насъ вопросъ. Привожу новую серію ихъ.

Въ составленномъ виленскимъ статистическимъ комитетомъ сочинени (сдълавшемся нынъ библіографическою

ръдкостію) "Черты изг исторіи и жизни литовскаго народа" (Вильна. 1854), на стр. 26, со ссылкою также на Voigt. Hist. Pr. V. 372, говорится:

"Вмѣстѣ съ Кейстутомъ умерщвленъ былъ и вѣрный слуга его, молодой русинъ Григорій Омуличь (?) рѣшивтійся защищать (?) своего князя. Въ Польшѣ старались не вѣрить этому коварному и жестокому поступку Ягайлы; но фактъ этотъ не подлежить никакому сомнѣнію. Не только Кейстуть былъ умерщвленъ по приказанію Ягайлы, но онъ истребилъ даже весь родъ жены Кейстута Бируты. Дядя ея Видымундъ и внукъ (?) Бутримъ были посажены на колъ (?), другіе казнены и имѣнія ихъ конфискованы. Бирута была осуждена на утопленіе (?), но неизвѣстно какимъ образомъ избѣжала смерти. Она жила въ Брестѣ, Полангенѣ и другихъ мѣстахъ. Умерла въ 1416 году. Народъ чтилъ ее, какъ богиню и создалъ подъ ея именемъ особаго идола" (?).

Однакоже, ни объ Омуличѣ, ни о Бутримѣ, ни объ "особомъ идолѣ" Бируты не упоминаютъ польскіе источники. Сомнительно, чтобы Омуличь былъ убить въ кревской темницѣ, вмѣстѣ съ Кейстутомъ. Сколько извѣстно, Кейстутъ и сынъ его Витольдъ заключены въ тюрьмы одни, безъ слугъ и послѣдніе ни въ какомъ случаѣ не могли быть допущены къ узникамъ, охраняемымъ съ особенною строгостію. Убивать же Омулича одновременно съ Кейстутомъ не было разсчета уже потому, что Ягайло имѣлъ въ виду приписать смерть дяди самоубійству, чему никто не далъ бы вѣры, такъ какъ трупъ Омулича былъ бы фактическимъ доказательствомъ преступленія.

Въроятно Омуличь и Бутримъ погибли во время кровавой тризны, справленной Ягайлою въ память Войдыллы.

Профессоръ новороссійскаго университета Смирновъ,

въ книгъ "Ягелло Яковъ-Владиславъ", на стр. 34, говоритъ объ этомъ же предметъ слъдующее:

"Достигнувъ измѣною торжества надъ дядею, Ягелло поступиль съ нимъ крайне жестоко, какъ видно, забывъ кроткое обращение съ нимъ Кейстута въ то время, когда самъ былъ въ его рукахъ. Слишкомъ 80-ти-лѣтній старецъ, близкій родственникъ, посадившій Ягеллу на виленскомъ престолѣ, былъ закованъ въ тяжелыя цѣпи, отвезенъ въ кревскій замокъ и тамъ брошенъ въ темное и смрадное подземелье. Четыре ночи провелъ онъ въ Кревѣ, а на пятую, какъ говоритъ лѣтописецъ, удавили его коморникы (тюремщики) ягайловы: Прокша, Мостеръ братъ, Кучіокъ и Лисица Жибентай (Нарбуттъ. "Ромпікі do dziejów Litwy", 26).

"Итакъ, убійдами Кейстута были приближенные Ягеллы и, конечно, нельзя думать, что они совершили преступленіе безъ его воли. Согласное свидѣтельство источниковъ не оставляетъ ни малъйнаго сомнънія на счеть виновности Ягеллы въ насильственной смерти дяди, твиъ болве, что умерщвление Кейстута было только цервымъ насиліемъ, за которымъ послъдовали другія, совершенныя по его приказанію. Неизв'єстно, какому преследованію подверглась Бирута; современные слухи, сохраненные лътописцами (Вигандъ, 274), говорили даже объ ея утопленіи, что, очевидно, неверно, такъ какъ она умерла несравненно позднъе (Нарбуттъ. V, 301). Зато ея дядя, почтенный старикъ Видымундъ, пользовавшійся большимъ уваженіемъ на Жмуди, быль колесованъ (и не посажено на коло!), а жена его выгнана изъ всъхъ его имъній (Аптописецъ Даниловича, 38; Нарбуттъ. "Pomniki do dziejów Litwy", 26 и Стрыйк. II, 66). Такой же участи подверглись многіе знатные жмудины, виновные только въ томъ, что приходились сродни Бирутъ и чрезъ нее Кейстуту. (Не объ этихъ ли ста обезглавленных старцах и ста сожженных юношахъ поетъ Крашевскій?). Попытка оправдать Ягеллу въ этомъ случав невозможна; желаніе облегчить его виновность совершенно напрасно, потому что едва ли можно извинить преступника слабостію его характера? Но, тімъ не менъе, мы замъчаемъ подобное желаніе въ Нарбуттъ. Онъ какъ будто ставитъ въ заслугу Ягеллъ то отвращеніе, которое онъ почувствоваль со времени убійства къ главному его виновнику Прокит или Прорт и котораго съ тъхъ поръ онъ не хотълъ видъть. (Не упреки ли совпети проявлялись вз этомг?). Хотя въ нашихъ глазахъ подобное обстоятельство нисколько не уменьщаетъ виновности Ягеллы, но мы приводимъ его только потому, что намъ извъстны факты, въ иномъ свътъ выставляющие отношенія великаго князя къ убійцамь Кейстуга; такъ, въ 1409 году Ягелло пожаловалъ "Науэнпилле" (гдъ прежде находился Новогрудокъ литовскій) Лисску Жибинтт Lissko Žybinta— тот же Лисица Жибентай), который основаль здёсь поселение и назваль его по своему имени, "Лишковымъ". Мы, конечно, не могли оставить безъ вниманія огромнаго сходства въ этомъ имени съ именемъ одного изъ убійцъ, и если оба они принадлежать одному и тому же лицу, то едва ли можно извлечь что нибудь хорошее для Ягеллы изъ отвращенія, которое онъ чувствоваль къ одному убійць и награды, которую даль другому". (Monumenta varia de lonis (?) diversis et personis (?) a Solomone Risinio caposita, Lubecae od Chronum in Litwania. 1823. Editio posterior, in officina Petri Plasii. См. "Pomn. pisma histor." Hapb., cmp. 29).

Мъстечко Лишково дъйствительно существуеть и въ настоящее время близъ м. Друскеникъ, въ Гродненской губерніи и называлось въ древности "Науэнпиль"—новый замокъ. (См. "Виленскій Календаро на 1888 годо", Н. Юницкаго, статья "Друскеники и ихо окрестности").

Оправдать себя предъ свътемъ въ убійствъ дяди Ягайло могъ бы лишь казнью тюремщиковъ, котя бы виновныхъ даже только въ допущени Кейстута до само-убійства. Но Ягайло не только этого не сдълалъ, а напротивъ, наградилъ ихъ, какъ доказываетъ сохранившійся въ исторіи примъръ награды Лисицы Жибентая. Везъ сомнънія, не остались безъ награды и другіе, только исторія о нихъ ничего не знаетъ.

Въ примъчании къ сказанному выше г. Смирновъ (на стр. 235) говоритъ:

"Лѣтописецъ, изданный Даниловичемъ и другой, изданный Нарбуттомъ, Длугошъ, а также Ваповскій, Стрый-ковскій, Кояловичъ, Лука Давидъ, Грунау согласно говорять объ удушеніи Кейстута. Единственное разнорьчіе ихъ заключается въ различіи именъ убійцъ, которые, кажется, правильнье названы въ льтописи Нарбутта. Вигандъ изъ Марбурга, сказавъ на 274 стр. "Купьти in captivitate strangulatur", на 288 говоритъ: "sed quomodo obierit nemo unquam cognovit", слъдовательно, самъ себъ противоръчитъ и потому можетъ быть вычеркнуть изъ числа источниковъ этого событія. Линденблать (стр. 50) говоритъ, что Кейстутъ покончилъ жизнь самоубійствомъ; но онъ не вполнъ въ этомъ увъренъ и передаетъ это извъстіе какъ слухъ: "als man sagete". Разсказъ Витовда о насильственной смерти отца, въ которой онъ обвиняетъ Ягелла и Скиргелла и другое донесеніе, найденное въ кенигсбергскомъ архивъ, также объ удушеніи Кейстута, приведены у Voigt'a, V. 372".

Здёсь г. Смирновъ отповется. Витовдъ, какъ разъяснено было выше, не обвинялъ Ягайлу въ непосредственномъ убійствъ отда его, а только въ томъ, что онъ "погубилъ" его, т. е. довелъ до смертнаго исхода. Кенигсбергское-же донесеніе, помъщенное у Voigt²a, также не говоритъ категорически, что Кейстутъ удавленъ по приказанію Ягайлы.

"При такомъ единогласіи-продолжаетъ почтенный профессоръ-такого множества источниковъ, казалось-бы, нътъ возможности сомнъваться въ виновности Ягеллы; но въ сочиненіи Шайнохи ("Ядвиги и Ягийло", львовское изд. І, 322 и 323 и примъч. къ нимъ) встръчаемъ отважную попытку уничтожить показанія всёхъ источниковъ и оправдать Ягеллу на основании однихъ соображеній. Болье всего поддерживаеть свою мысль Шайноха указаніемъ на молчаніе орденскихъ льтописей, тогда какъ рыцари, впослъдствіи злъйшіе враги Ягеллы, не преминули-бы воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы достойно очернить его. Но, во-первыхъ, это не справедливо: Вигандъ говоритъ объ удушеніи Кейстута, хотя послѣ какъ будто забываетъ сказанное имъ, и, во-вторыхъ, если-бы ни одна орденская лътопись не сказала бы ни слова объ этомъ событіи, то молчаніе ихъ былобы понятно: рыцарямь непріятно было и не слѣдовало говорить о преступленіи, въ которомъ участіе ихъ несомнънно, такъ какъ лътопись, изданная Нарбуттомъ ("Pomniki do dziejów Litwy", 26), перечисляя убійцъ Кейстута, одного изънихъ называетъ "Мостеръ братъ", противъ чего на поляхъ оригинала приписано (къмъг?) "крыжакъ", т. е. рыцарь нъмецкаго ордена. Участіе рыцаря въ убійствъ бъейстута совершенно достаточно объясняетъ молчаніе орденскихъ лътописей о родъ его смерти".

Это совершенно новое обстоятельство, проливающее новый свёть на все событіе. Нарбутть легкомысленно не придаль никакой важности этой припискт. Между тёмь, если-бы было доказано, что Мостерь действительно быль "крыжакъ" (рыцарь), то участіе рыцаря въ убійствт Кейстута было бы фактомъ первостепенной важности, потому что уличало бы не только Ягайлу, но и великаго магистра, въ приказаніи удавить героя, какъ обоимъ имъ страшнаго. Но какимъ же образомъ рыцарь

могъ очутиться тюремщикомъ у Ягайлы и при темницѣ Кейстута? Кто противъ имени "Мостеръ братъ" поста-вилъ слово "крыжакъ"? Кто кромѣ Нарбутта видѣлъ эту приписку? Сдълана-ли она рукою самого лътописда или какого нибудь неизвъстнаго читателя? Слово "братъ" могло относиться и къ каждому низшему лицу монашескаго, даже не рыцарскаго, ордена, клирику, равному нашему послушнику. Такое лицо могло состоять при кревской тюрьмъ въ качествъ просвътителя "ягайловскихъ живодеровъ". Но если Мостеръ дъйствительно быль "крыжакь", то должно полагать, что великій магистръ, сдълавшій, вмъсть съ Ягайлою, нападеніе на владънія Кейстута, условился съ Ягайлою убить старика и командировать рыцаря Мостера какъ для конвоированія его, такъ и для наблюденія за приведеніемъ приговора въ исполнение. Въ послъднемъ случав почему же Кейстуть не быль убить немедленно, а только на пятый день пребыванія въ тюрьмь? Не ожидали ли убійцы, что 80-лътній старець, обремененный тяжелыми цъпями и повергнутый въ смрадную темницу, не выдержитъ страшнаго положенія своего и скончается естественною смертью и потому не прибъгали къ крайней мъръ. Въ такомъ случав, почему же не ждали долве? Или Мостеръ (если онъ былъ рыцарь) не могъ ждать дольше и поторопиль убійць, чтобы скорье возвратиться къ своей когортъ и отрапортовать магистру и Ягайлъ, что все кончено.

Ни одинъ изъ этихъ вопросовъ не приходилъ въ голову Нарбутту, и онъ, по обычному легковърію своему, повторилъ приписку "крыжакъ", безъ историческаго изслъдованія происхожденія этого важнаго слова, какъ видно, не имъвшаго для него никакого значенія.

Между тымъ, нытъ повода не вырить Нарбутту въ дыйствительности существования этой приписки; а потому новыйшему историку не остается ничего болые, какъ признать, что приписка къ "Лѣтописцу Великихъ Князей Литовскихъ" слова прыжит сдѣлана рукою самого автора, или же лица, не менѣе хорошо знавшаго тогда всѣ подробности дѣла, и затѣмъ считатъ фактомъ, не подлежащимъ никакому сомнѣнію, личное участіе рыцаря Мостера въ удавленіи Кейстута, а слѣдовательно и съ вѣдома великаго магистра и Ягайлы.

Крашевскій въ ноэмѣ "Витольдовы Битвы" удачно извернулся въ этомъ инцидентѣ. Онъ пишетъ, что Ягайло, поручивъ своимъ налачамъ строжайше стеречь Кейстута, сказалъ будто бы имъ, что они отвѣчаютъ за него головами и что онъ, Ягайло, предпочитаетъ видѣть его скорѣе мертвымъ, чѣмъ на свободѣ. По доставленіи Кейстута въ темницу, онъ, въ теченіе 4 дней и 4 ночей, отдохнулъ и собрался съ силами настолько, что разбилъ свои узы и началъ ломать окно, что увидя живодеры и помня слова Ягайлы, рѣшили между собою удавить его и потомъ сказать, будто онъ самъ повѣсился.

Но Крашевскій не авторитеть и выдумка его скорѣе остроумна, нежели исторична.

Крашевскій, кром'в того, поэтизируеть моменть переноса т'вла Кейстута въ Вильну, для сожженія, говоря тамъ же:

Изъ Вильны столицы
Ягайло бѣжитъ:
Его ужасаетъ
Убитаго видъ.
Литовцы, жмудины,
Рыдая, крича,
Кейстутово тѣло
Въ столицу несутъ,
Убійцу клянутъ,
Клянутъ палача.

Полагаю, что съ точки зрѣнія ученой критики всѣ факты загадочной смерти Кейстута достаточно освѣщены и изъ нихъ можно вывести безошибочное заключеніе, что Кейстутъ дѣйствительно былъ удавленъ по повелѣнію варвара Ягайлы, который, какъ малодушный трусъ и жестокій по природѣ, боялся своего дяди и ненавидѣлъ его.

## XVII. ВОЗДУШНЫЯ ЧУДЕСА.

Не касаясь чудесъ религіозныхъ, поговоримъ о чудесахъ историческихъ, т. е. дошедшихъ до насъ путемъ исторіи. Но есть ли въ самомъ дѣлѣ чудеса въ природѣ и можно ли вѣрить историческимъ сказаніямъ о нихъ?

Необходимо разобрать вопросъ: какимъ образомъ могли попасть въ древнія лѣтописи эти сказанія? Кто передаваль ихъ лѣтописцамъ и были ли сами лѣтописцы настолько хладнокровно-разсудительны, чтобы взвѣсить обстоятельно каждый передаваемый имъ разсказъ, или же они заносили его въ свои лѣтописи легковѣрно и опрометчиво?

Вообще всё сказанія въ лётописяхъ о чудесахъ пишутся съ чужихъ словъ; но не со словъ самихъ очевидцевъ, а только "слышавшихъ разсказъ отъ очевидцевъ"; послёдніе также слышали отъ другихъ "очевидцевъ", другіе отъ третьихъ и такъ далёе, до безконечности; тёхъ-же людей, которые дёйствительно видёли сами чудо, на дёлё не оказывается.

Но кто же такіе эти разсказчики? Большею частію люди или легков'єрные, или лжецы. Легков'єрные люди,

испугавщись какого нибудь самаго естественнаго явленія природы, не имѣютъ ни мужества, ни разсудка для повірки явленія и выдають его за чудо; а лжецы нарочно морочать другихъ вымышленными разсказами своими и нерѣдко довираются до того, что потомъ сами вѣруютъ въ свою ложь и готовы клясться, что чудо дѣйствительно совершилось. Они же увѣряютъ иногда, будто были "очевидцами" извѣстнаго явленія; но имъ ни въ какомъ случаѣ давать вѣры нельзя. Попробуйте разсказчику такого рода передать вами же сочиненный какой нибудь анекдотъ мистическаго характера, увидите, что разсказчикъ, по истеченіи нѣкотораго времени, вамъ же разскажетъ вашъ анекдотъ и съ божбою станетъ увѣрять, что въ происшествіи этомъ участвоваль онъ самъ.

И воть источники для лѣтописцевъ!

Но когда писались самыя лѣтописи? Конечно, въ глубокой древности, въ средніе вѣка, которые исторія справедливо называеть вѣками варварства и фанатизма.

Могъ ли лътописепъ тогданняго времени не быть сыномъ своего въка?

Образованіе таилось тогда въ тъсныхъ монастырскихъ стънахъ. И какое образованіе? Грамотность, да изученіе священныхъ книгъ. Могъ ли невъжественный, фанатичный монахъ, подъ вліяніемъ върованія въ религіозныя чудеса, не давать въры и другимъ чудесамъ изъвидимаго міра? Лътописцы вообще не имъютъ привычки объяснять, откуда они почерпнули свъдъніе о данномъ происшествіи и только заявляютъ о немъ, какъ о фактъ совершившемся.

Привожу этому доказательства.

Касаюсь здёсь только воздушныхъ чудесь, вёра въ которыя, благодаря лётописцамъ, переживаетъ цёлый рядъ вёковъ.

Литовскій историкъ XVI стольтія Матвьй Стрийковскій, въ "Хроникъ" своей, напечатанной въ Кенигсбергѣ въ 1582 году и вышедшей новымъ изданіемъ въ Варшавѣ въ 1846 году, на 307 стр. І тома пишетъ:

"Въ 1269 году по Рождествѣ Христовомъ, въ Польшѣ показались чудеса на воздухѣ: на облакахъ были видны двѣ сражающіяся арміи и даже былъ слышенъ лязгъ оружія?"

Стрыйковскій не называеть ни мѣста появленія чуда, ни источника, изъ котораго его взяль. Но что онъ могь слышать отъ кого нибудь эту сказку, а не выдумаль ее самъ, можно дать вѣру.

Въ "Ипатевской Литописи", изданной въ "Полномъ Собраніи Русскихъ Летописей" (С.-Петербургъ, 1843), во II-й части, на стр. 3, сказано:

"Тако се древле, во дни Антіоховы, быша знаменья въ Ерусалимѣ; ключися являтися на воздуси, на конихъ рышуще во оружіи и оружьемъ двизаніе; то се бяше въ Ерусалимѣ токмо, а по инымъ землямъ не бяше сего".

Въ "*Густинской Лптописи"*, въ томъ же "Собраніи" и части, на стр. 270, подъ 6573 (1065) годомъ говорится:

"Якоже въ Іерусалимѣ являхуся вои на конъхъ рыщуще, являху Антіохово нашествіе".

И подъ 6777 (1269) годомъ, на стр. 344:

"Дивы великіе являхутся: видяху люди на неб'в войска ве зброяхъ, и разд'ёлены на два полка, и едны зъ другыми біяхуся".

Оба лѣтописца также свидѣтельствуютъ объ этихъ миражахъ, какъ о фактахъ совершившихся. Очевидно, лѣтописцы не были свидѣтелями явленій, но повторили съ полною вѣрою чужіе разсказы; чьи же именно: людей ли легковѣрныхъ, или лжецовъ—во мракѣ вѣковъ различить невозможно.

"Ипатіевская Лѣтопись", съ прибавленіемъ къ ней "Густинской Лѣтописи", составляеть, какъ сказано выше, II-ю часть "Полн. Собр. Рус. Лѣтописей". Первая изъ нихъ, въ спискѣ конца XIV и начала XV в., въ 306 листовъ, писана на бомбицинѣ, разными почерками, принадлежала ипатіевскому монастырю и хранится нынѣ въ библіотекѣ Императорской академіи наукъ, подъ № 6. На внутренней сторонѣ переплетной доски и на бѣломъ листѣ, въ трехъ мѣстахъ, скорописью XVII в., отмѣчено:

> "Сія книга Ипатцкаго монастыря слуги Тихона Ондресва сына Мижуева" и

"Книга Ипатцкаго старца Тарасія" (в'вроятно того же Тихона по постриженіи); а на оборотъ:

"Книга Ипатцкаго монастыря: Лѣтописецъ о княженіи".

Такимъ образомъ, лѣтопись эта существовала еще до Стрыйковскаго; но послѣдній, какъ видно, не изъ нея почерпнулъ свое свѣдѣніе о воздушномъ видѣніи въ Польшѣ.

"Густинская Лѣтопись" писана западно-русскою скорописью XVII столѣтія и принадлежить московскому Императорскому обществу исторіи и древностей россійскихъ. Авторъ ея называетъ ее "Кройникою", а переписчикъ въ заголовкъ говоритъ (стр. 233):

"Списася сія Кройника въ Малой Россіи, въ монастыръ Святыя Живоначальныя Троицы общежительномъ Густынскомъ Прилудкомъ, за благословеніемъ превелебнаго отъ Вогу его милости господина отда Авксентія Іоакимовича, игумена той же святой обители, року 1670 мъсяца августа 2 дня".

Послъ "предмовы до чительника" слъдуетъ подпись:

"Зичливый писарь той же Кройники, іеромонахъ недостойны Михаилъ Павловичъ Лосицкій".

Лѣтопись эта вышла послѣ появленія въ свѣтъ "Хроники" Стрыйковскаго, вышедшей въ 1582 году. Но не нужно сопоставлять лѣтъ выхода "Хроники" и "Кройники", чтобъ прійти къ заключенію, что авторъ "Кройники" раболѣпно подражалъ Стрыйковскому и повторялъ всѣ бредни послѣдняго. Вообще же "Густинская Лѣтопись" много и безъ всякаго разбора заимствовала изъ "Ипатіевской Лѣтописи" и изъ "Хроники" Стрыйковскаго. Такъ, напримѣръ, іерусалимское видѣніе она цѣликомъ взяла изъ первой, а второе сказаніе свое выписала изъ послѣдней, измѣнивъ только въ томъ отношеніи, что не назвала мѣста появленія на облакахъ двухъ ратей (въ Польшѣ).

Но заслуживаеть ли вѣры Стрыйковскій? Ученые давно уже пришли къ заключенію, что Стрыйковскій, а также Ласицкій, издавшій сочиненіе свое о Литвѣ въ 1580 году (слѣдовательно, одновременно съ Стрыйковскимъ), подъ заглавіемъ: "De diis Samogitarum et falsorum christianorum" съ ихъ руководителемъ, мистификаторомъ Грунау, пѣлыхъ три столѣтія держали въ

заблужденій ученый міръ!

Еслибы Стрыйковскій быль историкомь серьезно относящимся къ дѣлу, то развѣ могь бы онъ такъ легкомысленно повѣрить сверхъестественному воздушному явленію или серьезно повторить слѣдующія нелѣпости:

На стр. 307 1-го тома:

"На слъдующій 1270 годь, 20 января, въ краковской земль, въ дер. Накель, шляхетная Малгоржата, супруга Гроффа Виробослава, однимь порожденіемъ (sic!) родила тридуать шесть живыхъ дътей, которыя въ тотъ же день умерли.

"Потомъ другая, по имени Цехина, также однимъ порожденіемъ родила *шестъдесят*є дѣтей.

"Авицена, въ книгъ "О животныхъ", пишетъ, что одна женщина, однимъ порожденіемъ, имъла семьдесятъ восемь дътей.

"Также Альбертъ великій, въ кн. IX "De historiis animalium", говорить, что одна женщина въ нѣмецкой землѣ, однимъ порожденіемъ, привела на свѣтъ полтораста дѣтей, но недоношенныхъ (!!) и мертвыхъ, а каждое изъ нихъ не было больше мизинца мужской руки".

Это просто дътскіе ливни!

Не станемъ говорить о передаваемыхъ Стрыйковскимъ другихъ чудесахъ изъ міра физическаго. Достаточно и этихъ выписокъ для того, чтобъ убъдиться, въ какой степени можно върить ему, какъ историку. Даже "Густинская Лътопись", рабольпно повторившая всъ сказки Стрыйковскаго о разныхъ чудесахъ и знаменіяхъ, сдълала ему уступку только на 36 дътей, говоря на стр. 344:

"Въ лѣто 6777 (1269), недалече отъ Кракова, одна пани Вербославская Малгората, еднымъ роженіемъ породи дѣтей живыхъ *тридесять шесть*, генваря 21".

О прочихъ же дътскихъ ливняхъ, разразившихся "еднымъ роженіемъ" и состоявшихъ изъ 60, 78 и 150 дътей, посовъстилась повторить.

Но возвратимся къ воздушнымъ чудесамъ.

Въра во все сверхъестественное современна человъку. Природа людская склонна скоръе къ преувеличеню всякаго событія, нежели къ анализу его холоднымъ разсудкомъ. Всему чудесному, несбыточному какъ то върится съ удовольствіемъ и какъ то не хочется, чтобы чудесное было низведено на обиходное, матеріальное. Самый разсказъ о какомъ нибудь чудъ передается обы-

кновенно съ какимъ то поэтическимъ павосомъ и краснорѣчіемъ, возбуждаемымъ особымъ вниманіемъ слушателей. Тутъ можно щегольнуть краснорѣчіемъ и блеснуть краснымъ словцомъ, тогда какъ въ разсказѣ о предметахъ обыденныхъ сдѣлать этого нельзя, да едва ли можно и найти внимательныхъ слушателей?

Вотъ почему вѣра во все несбыточное крѣпка въ народѣ! Она, какъ мы видѣли, проникаетъ къ намъ изъ мрака минувшихъ вѣковъ и, конечно, проникнетъ въ туманную даль грядущихъ столѣтій, шагая твердою постунью по могиламъ цѣлыхъ поколѣній.

Что въра въ воздушныя чудеса живетъ и въ наше время, привожу слъдующий примъръ.

Въ 1839 году я пріфхаль на жительство по службъ въ г. Лиду, Виленской губерніи, гдъ передавался тогда изъ устъ въ уста такой разсказъ: года два-три назадъ, на большомъ, усаженномъ березами, трактъ изъ Вильны въ Лиду, у послъдней станціи Жирмуны, множество народа было свидътелемъ прохожденія по воздуху, чрезъ дорогу, не высоко отъ земли, огромныхъ полчищъ рыпарей, которые, въ полномъ вооружении, въ шлемахъ съ перьями и латахъ, гарцовали на коняхъ и гремъли оружіемъ. Проважавшіе въ г. Лиду по этой дорогъ должны были остановиться, изъ опасенія быть смятыми рыцарскими лошадьми. Полчища эти проходили въ теченіе цълаго часа и касались земли только на вершинъ находящагося вблизи дороги невысокаго холма, который такъ изрыли, какъ будто въ самомъ дълъ прошло чрезъ него множество кавалерійскихъ полковъ.

Заинтересованный этими разсказами, я усиленно искаль тьхь, которые сами видьли такое необычайное явленіе. Разсказчики указывали мнь на очевидцевь; но "очевидцы" отсылали меня къ другимъ "очевидцамъ", отъ которыхъ слышали описаніе событія, но "сами не видьли"; другіе, третьи, десятые также говорили, что "сами не видѣли, но слышали отъ "вѣрныхъ людей", которые не соврутъ, такъ какъ видѣли все собственными глазами". Такъ до "очевидцевъ" я и не добрался. Наконецъ, мнѣ указали на послѣдняго "очевидца", старика ксендза въ м. Жирмунахъ. Я познакомился съ нимъ. На вопросъ мой о явленіи, онъ отвѣчалъ мнѣ.

— Я былъ въ Вильнѣ, куда вызвалъ меня нашъ

епископъ Клонгевичъ, и прожилъ тамъ недѣли двѣ. Тамъ же узналъ я о чудѣ, совершившемся въ мое отсутствіе подъ Жирмунами. Разсказы объ этомъ были такъ настойчивы и упрямы, что дошли до губернатора, который командировалъ въ Жирмуны нарочнаго чинов-ника, для дознанія правды. Но чиновникъ не нашелъ ни одного очевидца явленія. Каждый говориль, что самъ не видалъ, но вси видъли. Кто же эти вси? Сосъдніе крестьяне, которые во множествъ тали въ Лиду, такъ какъ тогда быль базарный день; но и между крестьянами не напілось очевидца. "Казали людзи, что було нѣшто, а што — невѣдаю, бо самъ не бачивъ", быль общій отв'ять. Виленская академія, въ состав'я всъхъ своихъ знаменитостей, разбирала вопросъ о воз-можности подобнаго явленія, допускала, что тутъ могли быть: рефракція, миражь, fata morgana и даже просто вранье да такъ ни на чемъ и не порешила. Я съ моей стороны не смѣю отрицать чуда. Никто, какъ Богъ! Въ Его власти всѣ чудеса! Быть можетъ Ему угодно было показать людямъ знаменіе Свое? Мало ли доказательствъ тому имъемъ въ священномъ писаніи? Показалъ же Онъ древнимъ христіанамъ на небѣ крестъ, съ надписью "ab hoc vincis" (симъ побѣдишь). Обратилъ же Савла въ Св. Апостола Павла словами, сказанными просто съ неба: "Saule, Saule quid me persequeris?" (Савле, Савле! что мя гониши?)... Одного только не могъ я добиться - докончилъ священникъ: останавливались ли предъ шествіемъ рыцарей люди, ѣхавшіе

изъ Лиды, или же оно было видимо только ъдущимъ со стороны Вильны въ Лиду?

Такимъ образомъ, и послѣдній "очевидецъ" ничего не видѣлъ!

Что касается холма, то чрезъ него до нынѣ гоняють на пастбище принадлежащій мѣстечку стада домашняго скота, который, конечно, могъ изрыть холмъ далеко прежде церемоніальнаго марша рыцарей.

## XVIII.

## хронографъ Іоанна малалы.

Виленская публичная библіотека обладаеть весьма большимь числомь р'вдкихъ старинныхъ рукописей. Въ предисловіи къ описанію ихъ, составленному Ф. Добрянскимъ, въ 1882 году, сказано:

"Великая заслуга въ этомъ отношеніи (составленіи церковно-славянскихъ лѣтописей) такихъ обитателей, какъ Кіево-Печерская, Троице-Сергієва и другія лавры, достаточно выяснена и мы не будемъ подробнѣе распространяться объ этомъ. Но и наши рукописи почти веѣ написаны въ обителяхъ здѣшняго края. Супрасмская лавра, Жировицкій монастырь, витебскій Марковъмонастырь—вотъ мѣста, откуда вышла большая часть рукописей виленской публичной библіотеки!"

Въ числѣ рукописей этихъ, подъ № 109, находится "Хронографъ", въ листъ, полууставомъ, въ 736 листовъ. Писанъ двумя почерками, на бумагѣ двухъ сортовъ. По почерку, впрочемъ, обѣ эти части современны, но писаны разными лицами и потомъ уже сшиты въ одну книгу. На поляхъ рукописи сдѣлано множество замѣчаній на

польскомъ языкъ, скорописью XVIII въка. На переплетной доскъ въ одномъ мъстъ есть надпись:

"То есть книга, глаголемая Кроника".

Переплеть деревянный, обтянутый кожею. Рукопись поступила изъ Супраслыскаго монастыря.

Разсмотримъ этотъ "Хронографъ" собственно по отношенію къ литовско-языческой религіи.

Въ немъ есть статьи, повидимому, не встрѣчающіяся въ другихъ хронографахъ, какъ напримѣръ статья на 127 листъ:

"О прълести поганьской в нашои Литвъ".

Глава начинается сл'адующими словами:

"Скажемъ поганьскыя прѣлести быти сіцево и в Литвѣ нашои".

На полъ позднъйшая замътка:

"Се есть прълесть поганьская и в нашои Литвъ то ся водило злое дъло и до Витовта, бо Витовтову жону во Иряколъ сожгли по смерти и потомъ почали переставати жечися".

Замѣтка эта расходится съ историческою правдою, потому что Витовтъ былъ женатъ на христіанкѣ, а не на "поганкѣ"; слѣдовательно, она сожжена не была и литовцы "почали переставати жечися" гораздо раньше.

"Хронографъ" этотъ есть супрасльскій списокъ съ болгарскаго перевода хроники Іоанна Малалы (грека). Списковъ этихъ два: московскій, относящійся по письму къ XV вѣку и супрасльскій съ XVII столѣтія. Указаніе на московскій списокъ сдѣлано княземъ М. Оболенскимъ, въ предисловіи къ изданію "Іптописца Переяславля Суздальскаго", составленнаго въ началѣ XIII столѣтія. (Москва. 1851. Временникъ Имп. Моск. Общ. Ист. и Древн. Рос. стр. XIX и XXI).

Э. Вольтеръ, въ книгъ "Катехизисъ Даукши", на стр. 178 говоритъ:

"Хотя московская рукопись по письму и относится къ XV вѣку, но все же, по соображеніямъ князя Оболенскаго, русскій переписчикъ началъ списывать болгарскій переводъ хроники Малалы уже въ XIII вѣкѣ, именно въ 1262 году; "Оуказъ" (же "поганьской прѣлести сице, иже Совия Богомъ нарипаютъ") "Хронографа" на поганскія вѣрованія литовцевъ сдѣланъ современникомъ составителя "Ипатіевской Лѣтописи". Въ концѣ главы о "Совіѣ и Литвъ" въ супрасльскомъ спискѣ говорится:

"Лът же имъют от Авімелеха и многого роду сквернаго Совъя до сего лъта в няж начахом писати книгы си, есть 3446 лът тое было".

Отъ "Совія", современника Авимелеха, до того года, въ которомъ западно-русскій переписчикъ началъ "писати книгы си", прошло 3446 лѣтъ. А "извѣстно"— говоритъ князъ М. Оболенскій (l. с. стр. XXII), "что Авимелехъ, царь Герарскій, былъ современникъ Авраама; по лѣтосчисленію же Нестора, отъ Адама до потопа 2242 года, а отъ потопа до Авраама 3324 года, да отъ Авимелеха до лѣта, въ которое начались писатись "книгы си", 3446, итого 6770 лѣтъ отъ сотворенія міра, т. е. 1262 годъ отъ Рождества Христова".

Объясненіе слова "Совія" можно найти въ стать вакадемика А. Куника: "почему Литва и Пруссы назывались Совицею", пом'єщенной въ Запискахъ Имп. Акад. Наукъ, въ 1886 году.

Н. Костомаровъ, въ статъв "Русскіе Инородцы. Литовское племя и отношенія его къ Русской исторіи" ("Русское Слово", 1860. Май. V) говорить:

"У литовцевъ былъ свой героическій эпосъ: кромъ изуродованныхъ сказаній изъ прусско-нѣмецкихъ хро-

никъ, на это указываетъ переводчикъ "Хронографа" Малалы, приводя темное преданіе о какомъ-то Совіи, называемомъ еще Совицею, который будто бы ввелъ между литовцами богослуженіе, научилъ ихъ мифологіи и входилъ въ какой-то таинственный міръ, называемый у христіанскаго пов'єствователя идомъ, чрезъ девять воротъ. Признавая незапамятную древность этого сказанія, пов'єствователь считаетъ "Совію" современникомъ Авимелеха, жившаго при Авраамъ. Этотъ "Совія" имъетъ, кажется, сходство съ баснословнымъ Вейдавутомъ, который въ прусско-нѣмецкихъ хроникахъ изображается вводителемъ религіознаго строя".

И на стр. 44:

"О загробныхъ върованіяхъ литовцевъ сохранилось чрезвычайно любопытное, хотя, къ сожальнію, не ясное извъстіе у переводчика хроники Малалы. Здъсь показывается очень слабое понятіе о сознательной жизни за гробомъ: высшее наслажденіе, которое воображеніе создаетъ себъ—это сонъ".

"Хронографъ" Малалы говорить о литовскихъ божествахъ такъ-же сбивчиво и темно, какъ и "Ипатіевская Лѣтопись". Впрочемъ, послѣдняя говорить о нихъ менѣе всѣхъ; но, несмотря на то, вызвала преній о нихъ болѣе, нежели всякая другая лѣтопись. На стр. 188, II тома "Полнаго Собр. Рус. Лѣтописей" о божествахъ она упоминаетъ только вкратцѣ, какъ бы вскользь, именно:

> "Миндогъ же посла къ папѣ и прія крещеніе. Крещеніе же его льстиво бысть: жряше богомъ своимъ втайнѣ, первому Нгнадпеви и Телявели и Дивериктзу, Заеячему богу и Миндошну; егда же выѣхаше на поле и выбѣгняше заядь на поле въ лѣсъ ращенія не вхожаще вну и не смѣяще ни розгы оуломити, и богомъ своимъ жряще и

мертвыхъ твлеса сожигаще и поганьство свое явъ творяще".

И на стр. 195:

".... тужаху же и плеваху по свойскы рекуще: "Янда", взывающе богы своя, Андая и Дивериктза и вся богы своя поминающе, рекомыя бъси".

Въ находящемся въ Вильнѣ Супрасльскомъ спискѣ "Хронографа" Іоанна Малалы есть, какъ сказано выше, на 127 листѣ, также подходящее мѣсто, именно въ статъѣ "О поганьской прѣлести в нашои Литвѣ": -

"О великаа првлесть діаволскаа яж въведе в литовскы род и в ятвези и в прусы и в емь и в лив и иныа многіа языкы иж Совицею наричитса, мняще и душам своим суща проводника в адъ, Совья бывшему в лѣта Авімелеха иж и нынѣ мертва тѣлеса съжигают на крадах, якож Ахилесос и Еант и иніи по роду Елини. Сію прѣлесть Совію въведе в нѣ, иж приносити жрътву скверным богом Андієєть (по Оболенскому Андаеви) и Перкунови, рекше грому и Жевороунть, рекше Соуце (у Оболенскаго: "и Жвороунть, рекше соуце") и Теля великъ коузней (у Оболенскаго: "и Телявели и с коузнею"), сковаше емоу солнце яко свѣтити по земли, и възвергшю емоу на небо солнце".

Эти отрывки вызвали цёлую литературу догадокъ, кто такіе были *Нънадый*, *Телавель*, *Диверкъзъ*, Заячій богъ, Мпндпинъ или Мпндпинъ, Андай и Жворуна?

Въ разъяснени вопроса, существовали ли эти боги, приняли участи: А. Мпржинский (рефератъ, читанный на киевскомъ археологическомъ съвздъ), А. Брикнеръ, берлинский профессоръ ("Lithu-Slavische Studien. Weimar. 1887), И. Юшкевичъ ("Литовско-Русско-Польский

Словарь"), Ф. Миклошичъ ("Lexicon palaeo-slovenico-graeco-latinum), Э. Вольтеръ, въ разныхъ своихъ сочиненіяхъ и др. Вопросъ этотъ донынъ окончательно не разръшенъ.

Такъ, напримъръ, профессоръ Мържинскій, взявъ въ соображеніе, что Ласицкій пишетъ: "Numeias vocant domesticos deos" и что это слово сложное изъ numas домъ и dievas богъ—утверждаетъ, что нужно читатъ Numadievas или Numdievas, домашній богъ (домовой). Но Брикнеръ, тщательнъе другихъ разобравшій вышеприведенныя выписки, отвергаетъ объясненіе Мържинскаго, и все-таки не выясняетъ, кто такой Нънадній?

Э. Вольтеръ, на стр. 176 и дальше "Катехизиса Даукши", приводитъ мнѣнія не сходныя между собою различныхъ писателей объ Анда, Андієєт и проч. и спрашиваетъ, не позаимствовалъ ли "ипатіевскій" лѣтошисецъ нѣкоторыя свѣдѣнія изъ "Хронографа" Малалы?

Переходя къ *Жеворунъ* "рекше соуде", Вольтеръ говоритъ, что въ литовскомъ языкъ есть слово *Жверине*, вечерняя звъзда и что такихъ звъздъ "звъриныхъ" у литовдевъ нъсколько: "*Диджіойи*—*Жверине*" — Юпитеръ или Сатурнъ; "*Мажойи Жверине*" — Марсъ.

Это ближе подходить къ письму Оболенскаго "и Жвороунъ рекше соупе", нежели къ прочитанному Ф. Добрянскимъ (описаніе виленскихъ рукописей, стр. 250): "Иже во Роунъ". Что такое "Роунъ"? и при чемъ тогда была бы сука (canis foemina, самка собаки)? Ясно, что составитель "Хронографа" или его переписчикъ, въ фанатической ненависти къ "поганьству", назвалъ "сукою" какую-нибудь литовскую богиню.

Но замъчательнъе всего разборъ Телявеля.

Г. Мържинскій, въ кіевскомъ реферать своемъ, имъль въ виду, что Ласицкій увъряеть въ существованіи божка *Тавальса*; и потому производить это названіе отъ

слова tewas, tëwas или tawas, отецъ; уменьшительное tawalis, tëwalis, батюшка; произносится же tejawalis, tejawelis; а какъ въ жмудскомъ діалектѣ очень часто предъ окончаніемъ в исчезаютъ гласныя а, i, то Ласицкій и пишетъ "Tawals (вмъсто Tawalis) deus auctor facultatum". Къ названію божества очень часто прибавляется tewas, отецъ, какъ у латышей mate, мать; напримъръ, у Спрогиса ("Памятники латышскаго народнаго творчества". Вильна. 1868): "саулито-мамальино", солнышко-матушка; "уденсо-мате", мать-вода; "межамате", мать лъса; "веля-мате", мать мертвецовъ и т. п. Изъ этого слъдуетъ, что у Ласицкаго Тавальсо не обозначаетъ особаго божества, а только почетное названіе божества и человъка.

Противъ этого возражаетъ г. Вольтеръ на 177 стр. "Катехизиса Даукши", говоря:

"Западно-русскій переписчикъ "Хронографа" Іоанна Малалы (въ виленской библіотекѣ) высказывается обстоятельнѣе: онъ говоритъ, что "Теля-великъ" это кузнецъ; онъ сковалъ солнце "яко свѣтити по земли". Если кузнецъ относится къ "Теля-великъ", тогда послѣдній не можетъ быть ни "Тавальсъ", ни "Тевялисъ" (батюшка), какъ полагаетъ Мѣржинскій, ни "Теля-велисъ", лѣшимъ, пугающимъ странниковъ на дорогѣ (Wegeteufel), какъ объясняетъ Брикнеръ. Кузнецъ по-литовски называется kalwis, уменьшительное kalwalis, которое обращали можетъ быть (?) въ "Тельвелисъ", а въ спискѣ XVII вѣка въ "Теля-великъ" (?).

Между тъмъ, божка "Тавальса" никогда не существовало. Его выдумалъ Ласицкій, потому что латинскую букву J приняль за букву T. Онъ ли въ этомъ виноватъ, или переписчикъ, неизвъстно; но Ласицкій виноватъ въ томъ, что слово Jawals отъ jawu, рожь, означающее обиліе, урожай ржи, плодородіе, пожаловалъ въ

боги, какъ дѣлалъ это онъ, по незнанію литовскаго языка, съ многими словами. Ласицкій коротко называеть "Тавальса" божкомъ способностей. Нарбутть, благоговѣющій предъ Ласицкимъ, вмѣсто того, чтобы категорически доказать ему, что "Тавальса" никогда не существовало и что "Явальсъ" есть производное слово яву, виляеть вираво и влѣво и на стр. 103, т. І "Исторіи Литовскаго народа", полагаеть, безъ всякаго основанія, что могли быть два (!) божка: Тавальсъ и Явальсъ, изъ которыхъ первый быль "божкомъ способностей къ сладострастію" (!!), а послѣдній "богомъ способностей къ хорошей обработкѣ полей, для достиженія обильнаго урожая" (!!).

Этимъ Нарбуттъ ввелъ въ обманъ и слепо веривтаго ему Кратевскаго, который въ поэмъ своей "Миндовсъ" говоритъ явную ложь, будто въ виленскомъ святилищѣ Перкуна (Ромнове) истуканъ Тавальса поражаль своимъ видомъ женщинъ: онъ представлялъ собою чудовище на козлиныхъ ногахъ, съ безстыдною улыбкою на устахъ, обремененный дарами развратниковъ, состоявшими изъ коралловыхъ, янтарныхъ, перламутровыхъ и ракушечныхъ ожерелій. Очевидно, Крашевскій скопироваль греческаго Сатира. Скоръе можно было бы допустить существование божка Явальса, какъ происходящаго изъ одного источника съ богинею земледълія Круминою, которую въ некоторыхъ местностяхъ называли Явиною, отъ јаши, нежели Тавальса. Выть можеть *Явальс* и состояль съ *Явиною* въ какомъ-нибудь свойствъ и быль также покровителемъ земледълія, что и дало поводъ Стрыйковскому считать Крумину не богинею, а богомг.

При чтеніи такой своеобразной и противурѣчивой опѣнки выдержекъ изъ "Ипатіевской Лѣтописи" и "Хронографа" Малалы, невольно рождается мысль: не слишкомъ ли далеко гг. ученые изслѣдователи удалились отъ

прямого пути и не слѣдуетъ ли разгадки словъ "Телявеликъ-коузнецъ", а у Оболенскаго еще "и съ коузнею",
искать въ самомъ смыслѣ текста? Не хотѣлъ ли лѣтописепъ сказать, что литовскій языческій народъ до того
былъ дикъ и невѣжественъ, что вѣрилъ даже въ то,
будто нашелся нѣкій великій кузнецъ, по имени "Теля"
(исковерканное какое-нибудь собственное имя), который
самое солнце сковалъ для него и взвергъ на небо "яко
свѣтити по земли"? Самыя слова "Теля-великъ-коузнецъ"
положены въ "Хронографъ" въ именительномъ падежъ,
тогда какъ прочіе "сквърные богы" которымъ приносили
"жрътвы" или "жряше втайнъ", приводятся въ дательномъ, именно: "Андіеви", "Перкунови", "Жвороунъсоуце", "Диверикъзу", "Засечему богу" и "Мѣндѣину".

Трудно понять также, почему ученый міръ остановиль свое просвъщенное внимание на такой грубой, топорной работы притчъ о сожиганіи тълъ покойниковъ, какая пом'вщена на 127 листъ "Хронографа" Малалы, подъ заглавіемъ "О поганьской прълести в нашои Литвъ и о которой упоминаетъ Костомаровъ, въ приведенной выше цитать? Что за нельпая и темная сказка разсказывается о "Совіи, оуловившу емоу дивій вепрь, иземж из него Д (девять) селезниць . . . покущащеся снити в адъ осьмерными враты . . . не възмог дѣвя-тыми хотѣніе свое оуполучив". . . и далѣе разсказъ, какъ одинъ изъ сыновей "погребе и в земли", въ которой Совія не могь спокойно уснуть, потому что "червьми изъеден бых и гады"; потомъ, какъ тотъ же сыпъ вложиль его "во скриню древняну", гдъ Совія также не могъ уснуть, "яко бчелами и комары многыми снъден бых и какъ, наконецъ, сынъ "сътворив краду огньня велику и връже й на огнь", гдѣ Совія "яко дѣтищ в колыбели сладко спах". Летописецъ заканчиваетъ эту безсмыслицу словами: "О великаа прелесть діаволскаа" и т. д., какъ выписано выше.

Странно, что потомки ныняшняго стольтія задались мыслію, къ писаніямъ своихъ предковъ за волосы притягивать смыслъ и настойчиво навязывать имъ идеи, о которыхъ они и не помышляли! И надъ этимъ ломаетъ себъ головы ученый міръ, считая всякую нельпость полуграмотнаго писаки чъмъ-то иносказательнымъ, таинственнымъ!

Казалось бы, ученымъ писателямъ следовало обратить вниманіе на то, что древній славянскій языкъ, грубый и твердый по самой натурѣ своей, не способенъ къ произнесению словъ мягкихъ и особенно иностранныхъ, и потому всв такія имена исказиль до неузнаваемости: тѣ же писатели, которые вели на немъ въ древности свои записки, имѣли образованіе, по духу тогдашняго времени, весьма одностороннее, духовное, строго-монастырское, чуждое всякой віротерпимости и за стъны монастыря въ міръ не проникавшее. тому, дъецисатели эти не церемонились съ затруднительными названіями чуждыхъ имъ именъ, а передёлывали ихъ, рубя сплеча, какъ имъ удобнъе было, тъмъ болъе, если топорнымъ перомъ ихъ руководило и презрвніе къ "поганьству", въ родв того, какъ Тъмутараканскій пехлеванз (богатырь) перед'ялань въ "Тьмутараканскаго болвана", или Швеція въ Свиньскоую землю". Послъднее значится въ "Новгородской Лътописи" (изд. •кн. Оболенскаго), въ которой на стр. 69 сказано:

"Роукописаніе *Магняшево* (Магнусово) *Свійскаго* короля. Се азъ, князь Магнушъ . . . и отъ того времени найде на нашоу землю *Свиньскоую* горькая погибель" и т. д.

Отъ того эти писатели и исковеркали до неузнаваемости и названія всёхъ литовскихъ боговъ и теперь потомки ломаютъ себ'є головы, тщетно доискиваясь истины. Конечно, много такихъ названій исказиль самъ грекъ Малала; еще больше болгарскій его переводчикъ; а ужъ о славянскихъ переписчикахъ и говорить нечего!

Малала жилъ въ Литвѣ и писалъ свои картины съ натуры (вѣроятно былъ греческій священникъ при одной изъ великихъ княгинь литовскихъ), иначе онъ не зналъ бы литовскихъ обычаевъ и не сравнивалъ бы ихъ съ еллинскими и не выражался бы: "въ нашои Литвѣ".

Доказательствъ того, что славянскіе дѣеписатели и переводчики извратили всѣ иноземныя названія, можеть служить славянская Библія: узнаетъ ли въ ней послѣдователь Моисея хоть одно изъ именъ, завѣщанныхъ намъ авторомъ "Книги Бытія", начиная съ его собственнаго имени? Конечно, тутъ половина вины падаетъ на грековъ, съ которыхъ славяне переводили священныя писанія.

Но взглянемъ на тѣ лѣтописи, о которыхъ идетъ рѣчь: узнаетъ ли чистый литовепъ хоть одно изъ своихъ историческихъ именъ? "Олькирдъ", "Римонтъ" (Ольгердъ, Наримунтъ), "Кгедиминъ", "Гедимонъ" (Гедиминъ), "Къриядъ", "Кърибоутъ", "Якгойло", "Керъбятъ", "Лоуговеней", "Овитригаймо" и "Швитригайло" (Свидригайло), "Жидимонтъ" и "Жикгимонтъ" (Гедиминъ), "Вашелегъ" (Войшелкъ), "Олирдакъ" (Ольгердъ), "Мидогъ", "Тренята" (Тройнатъ), "Живинъбудъ", "Давъятъ", "Довъспрунът", "Великаилъ" и мн. др.

Даже славянскихъ языческихъ боговъ лѣтописцы назвать не умѣли. Такъ, "Лѣтописецъ Великихъ Князей Литовскихъ" (изд. Даниловича), на стр. 104, говоритъ:

"Володымерь же постави кумъри на холми: Перуна и Хорса и Дажба и Дистриба и Семаргія и Мокоши".

А въ "Софійскомъ Временникъ", на стр. 55, они навываются: "п Харса и Дажба и Стриба и Семирагла и Могошъ".

Но всего не высчитаешь. Да и зачёмъ такъ ходить далеко? Развё наши нев'єжественные "думные дьяки", въ поздн'єйшей эпох'є, не сд'єлали изъ Стокгольма "Стекольны", изъ Гамильтона "Хомутови", изъ Оклобжіо "Оглоблина" и не исковеркали сотни другихъ иностранныхъ именъ?

Подобныя лѣтописи и "источники" — это Сцилла и Харибда для новѣйшаго литовскаго историка или миоолога.

(Продолжение книги можеть быть впослыдствии).